

15.531К 7

Б. Куликов

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Коллч. пред. выдач

27.05.89 1129

Б. Куликов

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

15.531к



ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
17	15 св.	схваткой	хваткой
19	6 сн.	состояние	состояние
27	11 сн.	опровергал	отвергал
31	6 сн.	становления	становится
32	5 сн.	годы	горы
64	5 сн.	в трех	в тех

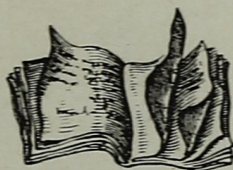
з. 3443, т. 5000

-- 2010

Б. Куликов

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА



15.531к

*Верхне-Волжское книжное издательство
Ярославль 1972*

-- 2010

8Р1 Куликов Б.
К90

Николай Майоров. Очерк жизни и творчества. Ярославль, Верх.-Волж. кн. изд., 1971.

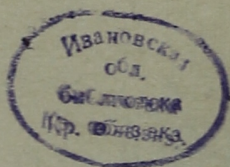
64 с.

Очерк Б. Куликова посвящен жизни и творчеству талантливого поэта-ивановца Н. Майорова, со студенческой скамьи ушедшего на фронт и погибшего в самом начале Отечественной войны.

Очерк проникнут искренним желанием исследователя восстановить в правах имя талантливого поэта-фронтовика, подлинным интересом к его творчеству, глубоким уважением к личности Николая Майорова. Написан он взволнованно, увлеченно, хорошим, живым языком.

7-2-2
44-72

С



Куликов Борис Пантелеевич

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

Редактор *Т. Спирина*

Художественный редактор *В. Усов*

Художник *А. Чеснов*

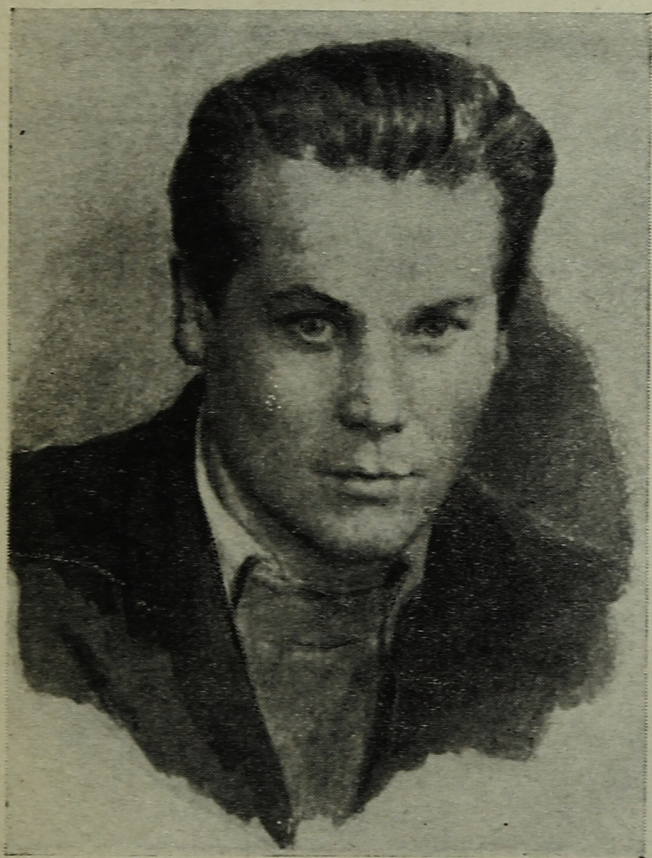
Технический редактор *В. Панфилова*

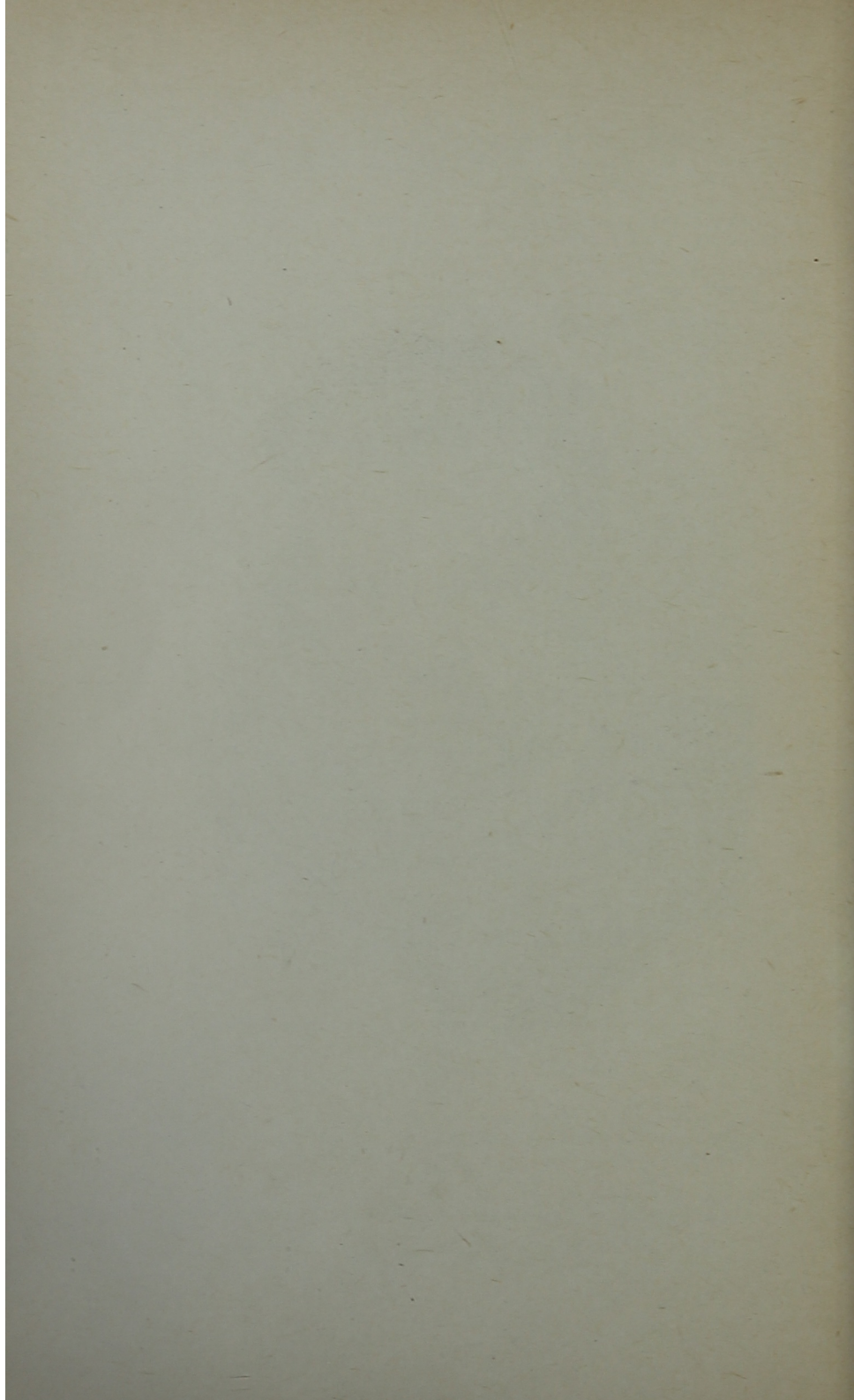
Корректор *Э. Ссорина*

Сдано в набор 5 ноября 1971 г. Подписано к печати 25 января 1972 г. АК01530 Формат бумаги 84×108/32. Бумага типографская № 3. Усл. печ. л. 3,36. Уч.-изд. л. 3. Тираж 5000. Заказ 3443. Цена 12 коп.

Верхне-Волжское книжное издательство Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ярославль, ул. Трефолева, 12.

Типография № 2 Росглаволиграфпрома,
г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.





Он говорил чуть окая, глуховато, неторопливо. Откидывал рукою со лба русые прямые волосы, мягко и вдумчиво взглядывая на собеседника серыми небольшими глазами. Ничего броского, ничего необыкновенного во внешности. Крепкий, довольно высокий паренек с угловатыми плечами, удивительно скромный, но и с твердым чувством внутреннего достоинства, по-своему очень серьезный, верный на слово товарищ. Был необычайно работоспособен; постоянно размышляя о стихах, своих и чужих, успевал отлично учиться, не один год совмещая учебу на историческом факультете МГУ с занятиями в Литературном институте. Эта его деловитость и собранность была тоже очень органичной, внутренней, в ней не было ни малейшего привкуса суетливости или нахрапа. Никогда не выскакивал вперед, не захватывал инициативы, не старался блеснуть попусту. А между тем напечатанные им в университетской многотиражке стихи завораживали особой, четкой и живописной образностью, оригинальным тембром. В них проглядывала настоящая зрелость.

Остановит, бывало, поздним вечером в коридоре студенческого общежития на Стромынке, возьмет под руку: «Послушай, как у меня получилось», — и с напором, с упругим взмахом сжатого кулака читает напряженную, круто замешенную, сочащуюся красками строфу.

Ночью у обледеневшего темного окна, за которым скрежетали, затихая, самые поздние

вагоны соседнего трамвайного парка, читал он поразившее меня стихотворение о Михайловском: там были тлеющие угли камина, там ставилось «слово на ребро», и Пушкин негритянскими губами трепал гусиное перо. Как-то осенью, после каникул, привез он из Иванова в Москву свой «Август» с «бабочкой на раме», с чисто языческим ощущением земной влаги и трав... Помню, как горячо внушал он мне, насколько ярка, хороша не известная мне тогда проза Крылова: брал в руки книгу и читал вслух страницы крыловских повестей и сатир...

В университетском литературном кружке, где с нами работали Евг. Долматовский и Д. Данин, Николая кое-кто иногда упрекал: мало, мол, в твоих стихах воздуха, мешает им некая тяжесть громоздкой золоченой рамы. Знатоки вспоминали при этом Павла Васильева. А сам Николай по секрету просил меня раздобыть ему стихи этого поэта, чтобы убедиться, похож ли он на него: читать в ту пору Васильева ему не доводилось...

Прошло огромное время — и теперь ясно видно: «воздух» в стихах Майорова есть — это грозовой, все сгущавшийся воздух предвоенных лет, уловленный и запечатленный рукою юного мастера. А образный строй стихов Майорова, майоровские краски не теряются и не тускнеют, даже когда окидываешь взглядом всю богатейшую советскую поэзию.

Хорошо помню нашу последнюю встречу в глухом осеннем городке, во глубине России: Николай был уже солдатом, шинель ему выдали не по росту короткую. Он передвигался тогда в какую-то воинскую часть, по назначению. Был молчалив, задумчив, новых стихов не читал — не до стихов было в эти трагические недели. А рядом с Колей шагал, тоже в солдатской шинели, длинный, сутулый, неуклюжий, в толстых роговых очках его товарищ и однокурсник, добрый-предобрый парень Арчил Джапаридзе...

Николай не успел опубликовать в большой печати ни одного своего стихотворения. Подготовленный в университете сборник стихов, где наряду с Майоровым выступали и его товарищи — литкружковцы, по странному распоряжению тогдашнего ректора в свет не вышел.

Теперь Николай Майоров, замечательный поэт и воин, отдавший свою жизнь за Родину, входит в сознание многих и многих читателей.

Сохранены и изданы его стихи. В наиболее полном виде они представлены в книге, озаглавленной по майоровской строке: «Мы были высоки, русоволосы...» (Ярославль, Верх.-Волж. кн. изд., 1969). А первая книга стихотворений Николая Майорова, бережно собранная его друзьями, появилась в 1962 году в Москве, в издательстве «Молодая гвардия». Эта книга, носящая название «Мы», была удостоена областной премии Ленинского комсомола в родной его Ивановской области. В городе Иванове именем Майорова названа улица, его имя присвоено пионерской дружине 26-й восьмилетней школы (бывшей 33-й средней), где учился поэт. Парта, за которой сидел Николай, стала особой партией: право занимать ее получают только отличники. И именно в этой классной комнате, где стоит парта Майорова, когда-то учился Дмитрий Андреевич Фурманов...

Осенью или зимой 1937 года впервые подошел я к Николаю Майорову и познакомился с ним. Был я на курс старше Николая, никаких обычных студенческих дел у меня к нему в тот момент не было. Я подошел к нему как к поэту: задели, привлекли, запали в душу его стихи, появившиеся в университетской многотиражке. Скоро мы знали друг друга уже близко, нас связывало многое.

Со странным, трудно передаваемым чувством перелистываешь книжку о Николае Майорове...

Жесткая горечь в горле — какого чудесного парня, какого дивного поэта унесла, сгубила война!

Щемящая растроганность: в памяти встают картины предвоенной студенческой жизни, Московский университет, голосистая студенческая вольница, строгие лекционные аудитории, ушедшие и здравствующие еще профессора, весь наш тогдашний стремительный и бодрый быт с его многочисленными литературными вечерами, спорами, увлечениями, открытиями.

И горделивая радость: не пропадает Колин стих, не скроет облик Майорова летящее время.

На правах друга и товарища Николая Майорова мне хотелось бы выразить благодарность автору этой книжки Борису Куликову, молодому исследователю, по крупицам собирающему и осмысливающему самый разнообразный материал: строчки стихов и писем, воспоминания и свидетельства, случайные документы и пожелтевшие страницы затерянных, полузабытых газет.

Автор этой книги посвятил свои силы благородному делу: Николай Майоров и поэтические его сверстники, павшие на фронтах Великой Отечественной войны, должны стать перед нашим читателем во весь рост.

Николай Банников

*Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли...*

Николай Майоров

Во вступительном слове к недавно вышедшей в Ярославле книге стихов Николая Майорова «Мы были высоки, русоволосы...» литературовед Андрей Турков, говоря о поэзии времен Великой Отечественной войны, спрашивает: «Где начинался этот великий подвиг нашей поэзии?»

И сам же отвечает на этот вопрос: «Пожалуй, даже не в первый день войны, а порой в тех студенческих аудиториях, где бурлили молодые и дерзкие поэты, павшие в первые же месяцы жесточайших боев, не успевшие почти ничего сложить в эту пору, но зато уже на учебной скамье, как принято говорить, трубившие тревогу, звавшие своих сверстников взглядеться и вдуматься в ближайшее будущее».

Одним из таких поэтов был и Николай Майоров.

Его имя известно пока сравнительно небольшому кругу читателей. Объясняется это рядом причин.

Начнем с того, что при жизни Майоров не печатался. Он опубликовал лишь несколько стихотворений в университетской многотиражке. После гибели поэта сохранилось очень немного законченных его стихов — всего около трех тысяч строк. Остальные стихи и две большие поэмы затерялись.

После войны товарищ Майорова по Московскому университету Виктор Николаевич Болховитинов и друг Майорова со школьной скамьи поэт Владимир Семенович Жуков задались целью собрать все сохранившиеся стихи Майорова и опубликовать лучшие из них. Были собраны рукописи, хранившиеся у родителей и друзей, просмотрены экземпляры газеты «Московский университет», записаны стихи, которые запомнились друзьям Майорова. Так родилась первая книга стихов Майорова — «Мы», которая вышла в свет через 20 лет после

смерти поэта. Но тираж этой книги составил всего 5000 экземпляров. Выпущенная в 1962 году издательством «Молодая гвардия», она сразу же стала библиографической редкостью.

И лишь в 1969 г. в Ярославле, в Верхне-Волжском книжном издательстве, увидела свет новая книга стихов Н. Майорова «Мы были высоки, русоволосы...». За эти годы ее составители В. Н. Болховитинов и В. С. Жуков заново просмотрели архивы, разобрали не прочитанные до сих пор строки поэта. Теперь голос Н. Майорова зазвучал для читателей наиболее полно и зримо. И пусть отдельные стихи явно фрагментарны, а некоторые просто являются черновиком — каждое слово этой книги говорит о том, что перед нами большой поэт. Кроме того, тираж книги позволил стихам Майорова ближе подойти к читателю и тронуть больше человеческих сердец, чем это было до сих пор.

К сожалению, критика не заметила нового имени. За все эти годы не появилось ни одной более или менее серьезной статьи о творчестве Майорова. Радио и телевидение также остались глухи к его поэзии. Имя Майорова не попало ни в пьесу о погибших на фронте поэтах-юношах, ни в снятый на ту же тему документальный фильм.

Может быть, это объясняется тем, что Майоров был одним из наиболее самобытных поэтов предвоенного поколения: А всегда нужно время, чтобы понять оригинальный голос.

Поэзия Майорова брала свое начало в зримых, осязаемых земных ощущениях. Простые по форме, его стихи трогают душу своей искренностью, из простоты и точности слов вырастает вдруг необыкновенная глубина и ясность мысли, непосредственность живого чувства поэта.

Эпическое раздумье, философское обобщение, чувство глубокой связи с прошлым русской земли, с судьбой народа — неотъемлемые качества поэзии Николая Майорова. Поэт как бы принимает мир из натруженных рук своих предков и земляков — рабочих и землепашцев.

Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами,
Глаза мои обращены на всех.

Это не было поэтической декларацией. Это была гордость и боль сына. А настоящие стихи всегда рождаются из боли.

Майорову не нужно было учиться патриотизму: Россия была для него дыханием и колыбелью. Он был рожден поэтом, так же как родились поэтами Кольцов и Есенин. Как и они, Майоров «шел по жизни босиком», остро чувствуя каждое ее прикосновение. Его глаза были настезь открыты навстречу миру. А мир — цветной, кричащий, распахнутый всем ветрам — кружил голову, бил ладонями листьев по лицу, пел в сердце. И поэт писал об этом мире, о своей родной земле. Писал с фламандской щедростью красок, «с чисто языческим ощущением земной влаги и трав». А полевые цветы он ставил на стол, как лампы.

Майоров был живописцем в поэзии, видел мир живым, красочным, объемным. И этим он близок к поэзии Павла Васильева и образам Александра Довженко.

Поэт жил в напряженном стремлении утолить «упорную жажду высоты» в творчестве, много размышлял о природе искусства, мечтал «так передать цвета своей земли, чтоб век спустя все так же мяли глину и лучше-го придумать не смогли».

Говоря словами А. Туркова, «ему мечталось десятилетиями:

...ходить землей, горячею от ливня,
и славить жизнь...

Ему пришлось пройти землей, горячей от взрывов и пожаров, и отдать за нее жизнь...»

Николай Майоров удивительно остро чувствовал это неотвратимое веление времени. Он видел высокую и суровую судьбу своего поколения.

Судьба поэта и судьба его поколения слились воедино.

Сейчас, когда прошло уже тридцать лет со дня гибели Николая Майорова, хочется подробнее рассказать о жизни поэта и о его стихах. В этом мне помогли В. Н. Болховитинов и В. С. Жуков, которым я приношу свою искреннюю благодарность.

*А он глядел во все глаза
На мир из света и воды.*

В. Жуков

Отец поэта, Петр Максимович Майоров, родился в семье бедного крестьянина в деревне Павликово Гусевского уезда Владимирской губернии*. В 1904 году он уезжает в Москву на заработки, оставив жену в деревне. В городе он обучился плотницкому мастерству, и жить семье стало легче. К 1914 году у Петра Максимовича и Федоры Федоровны подрастали уже два сына — Иван и Алексей. Но тут началась первая мировая война, Петра Максимовича забрали в армию. Через несколько месяцев он был на фронте, а весной 1915 г. попал в плен к немцам.

После трех лет плена, в 1918 году, он вернулся, наконец, домой. Но радости от встречи с семьей не было: деревня голодала. Пришлось отправиться на заработки, искать хлебородную губернию, чтобы заработать хлеба для семьи. Старшего сына Петр Максимович оставил у отца, а жену и младшего взял с собой. В путь двинулись в конце декабря 1918 года. Жена в это время была беременна третьим ребенком.

Остановились на границе Симбирской и Саратовской губерний. Там Петр Максимович плотничал в окрестных деревнях. Весной совсем уж было собрались домой, но тут Петр Максимович заболел тифом, и с выездом задержались. В это-то время, 20 мая 1919 года, в деревне Дуровка, что под Сызранью, и родился в семье Майоровых сын Николай, будущий поэт.

Через полтора месяца поехали домой. В это время по всему Поволжью наступал Колчак, но Петра Максимовича в армию уже не брали, как инвалида мировой войны.

* Биографические сведения взяты из письма П. М. Майорова ко мне.

Когда вернулись в родную деревню Павликово, получили от Советской власти землю и стали крестьянствовать. В 1925 году старшие сыновья (одному было 16, другому — 13 лет) уехали в Иваново, где продолжали учебу и работали в колбасной учениками.

В 1929 году вся семья переехала в Иваново, так как «крестьянство» у Петра Максимовича шло плохо. В Иваново он стал работать на фабрике плотником и был на этой работе до старости*.

Осенью 1929 года Николай Майоров, которому тогда было десять лет, поступил в 3-й класс средней школы № 33 г. Иванова. Вера Михайловна Медведева, учительница русского языка и литературы, которая вела класс, где учился Майоров до окончания школы, вспоминает:

«Помню его с 5-го класса. Светловолосый, голубоглазый, немного неуклюжий мальчик привлекал к себе своим открытым видом и любознательностью. Другой характерной его чертой была скромность, даже, пожалуй, застенчивость... Очень любил Николай писать сочинения. Писал обычно много и очень ярко, своеобразно. К сожалению, ни одного из его школьных сочинений не сохранилось. Как только началась война, здание нашей школы № 33 (она тогда размещалась на Негорелой улице) заняли под госпиталь. В спешке и суматохе тогда и были безвозвратно потеряны школьные архивы...

Однажды в перемену ко мне подошел Коля и, смущаясь, вручил тоненькую голубую тетрадку. Это были его первые стихи**.

Постепенно число тетрадей со стихами росло. До сегодняшнего дня от школьных лет сохранилось 12 тетрадей стихов и повесть (в большинстве своем они относятся к 1936 году, когда Майоров учился в 9—10 классах). Среди тетрадей выделяются два рукописных сборника стихов — «Луна» (апрель 1936 г.) и «Накипь» (1936 г.) с рисунками на обложках Николая Шеберстова, одноклассника и друга Майорова***.

* П. М. Майоров умер 4 апреля 1967 года, мать поэта умерла в 1965 году.

** «Ленинец» (орган Ивановского обкома ВЛКСМ), 1961, 12 марта.

*** Все эти тетради хранятся сейчас в архиве В. Н. Болховитинова, главного редактора журнала «Наука и жизнь»; одна тетрадь — в ЦГАЛИ (с отличным портретом поэта, исполненным Н. Шеберстовым).

Почти все стихи из этих тетрадей — подражание Есенину и Кольцову, хотя и тут уже встречаются отдельные строчки и даже целые стихотворения, где слышится собственный голос начинающего поэта.

В развитии творческих способностей Майорова и его одноклассников немалую роль сыграла Вера Михайловна Медведева. Это благодаря ее заботам и стараниям работали литературно-творческий и драматический кружки, выходила литературная стенная газета, издавался рукописный альманах*. Николай Майоров, Владимир Жуков и Николай Шеберстов принимали во всем этом бурное участие. (Сейчас В. Жуков — поэт, живет и работает в Иванове; Н. Шеберстов — художник-график.)

Но Майоров «поэтом быть не собирался, считая, что писателем может быть только человек по-настоящему талантливый, такого ряда, к какому себя не причислял.

И, когда настало время выбирать вуз, пошел на исторический факультет. К истории он всегда относился с особым интересом и уважением**.

Летом 1937 года Майоров едет в Москву и поступает на исторический факультет Московского университета. Начинается студенческая жизнь — полуголодная, безденежная и одновременно неповторимо счастливая, когда все впереди, когда кажется, что любые твои мечты сбудутся, когда все в твоих руках. Будущий поэт узнает студенческую Москву, места, памятные и дорогие не одному поколению студентов: ЦСГ*** — знаменитое общежитие на Стромьнке, Огаревку — студенческую столовую на улице Огарева, Горьковскую читальню под куполом на Моховой, читальный зал на мехмате — на 3-м этаже старого университетского здания. В этих читальных залах он прочитывал горы книг, думал о прошлом своей земли и будущем. И это было неповторимо...

И все-таки почти каждый вечер он писал новое стихотворение...

* Один из его номеров — «Ростки», 1935, № 1 — сохранился (сейчас находится в архиве В. Н. Болховитинова). В номере помещены — среди других материалов — 5 стихотворений Майорова и два его юмористических рассказа — «Приключение в очереди» и «Раздевалка», написанных в стиле М. Зощенко.

** Воспоминания В. Жукова в книге стихов Н. Майорова «Мы». М., «Молодая гвардия», 1962.

*** Центральный студенческий городок.

15 ноября* 1937 года в многотиражке «Московский университет» появилось редакционное сообщение: «В нашей газете с этого номера периодически будет выходить литературная страница... 20 ноября, в 6 часов вечера, в редакцию газеты «Московский университет» приглашаются все товарищи, желающие принять участие в работе литературной страницы». Редактором литературного отдела газеты был в то время студент 3-го курса физмата В. Н. Болховитинов.

20 ноября, на первом собрании литературного актива, и произошло знакомство Болховитинова с Майоровым, знакомство, сыгравшее в жизни поэта огромную роль. Майоров читал тогда стихотворения «Часы», «Быль военная» и «В Михайловском», написанные еще до поступления в университет, летом 1937 года.

Редакция сразу же привлекает к работе начинающего поэта. На одной из первых литературных страниц газеты публикуется стихотворение «Гибель поэта» (посвященное 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина), в другом номере печатается большая статья о Шота Руставели. Майоров часто выступает в газете со статьями о работе литературного актива, пишет статью «Проповедник гуманных идеалов» — о Т. Н. Грановском, который сто лет назад, в 1839 году, начал читать лекции по всеобщей истории в Московском университете.

Интересно отметить статью Майорова «Работать в литературным активом» («Московский университет», 1938, 5 мая), из которой видно, насколько серьезно относился он к литературной работе студентов. Майоров пишет:

«Редакция должна организовать для своих студков постоянную учебу, где бы они глубоко изучали литературу и теорию литературы...

Хорошим начинанием в этом отношении была встреча с поэтом Ильей Сельвинским. Такие встречи и впредь должны практиковаться чаще. Разве нельзя, например, получить в секции поэтов Союза советских писателей руководителя для работы с литературным активом при редакции? Об этом говорил и т. Сельвинский...

* На сохранившемся экземпляре газеты дата написана от руки — 15/X. Вероятно, это описка.

Я считаю неправильным стремление некоторых редакционных работников печатать рассказы и стихи только со студенческой тематикой. Для роста начинающего писателя полезно многообразие тем».

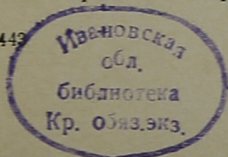
Встреча с поэтом Ильей Сельвинским, о которой пишет Майоров, состоялась в январе 1938 года. Сохранился блокнот В. Н. Болховитинова* с заметками Сельвинского о стихах начинающих поэтов МГУ. Напротив фамилии Майорова написано: «Читает с медью в голосе». На этой встрече Майоров читал три стихотворения: два старых — «Быль военная» и «Часы» — и одно, написанное в конце 1937 года, — «Взгляд в древность».

Чуткое ухо мастера сразу же уловило в стихах начинающего своеобразие, яркость и точность метафор. «Копей и стен горячих медь», «Глухой и мертвой схваткой скифа хватали зори край земли» — записывает Сельвинский в блокнот крепкие строчки из «Взгляда в древность» — стихотворения, в котором (как и в написанном ранее «В Михайловском») впервые начинает звучать свой, майоровский голос.

Разговор с большим поэтом, его критические замечания, разгоревшиеся споры создали ту атмосферу, в которой нуждались начинающие поэты, которая сплачивала их в единый коллектив. Но чтобы не топтаться на месте, не вариться в собственном соку, этому коллективу нужен был опытный руководитель, который бы направил его по верному пути, а иногда и просто по праву старшего высказал свое мнение. С этим мнением можно было не соглашаться, но оно лишний раз заставило бы задуматься (ведь это было бы мнение не сверстника, горячего в молодой запальчивости, а опытного поэта, прошедшего большую школу поэзии и жизни).

И вот осенью 1938 года, когда литературный актив превратился в крепкую и постоянную литературную группу, редактор отдела литературы и искусства В. Н. Болховитинов пошел в Союз советских писателей с просьбой дать литературной группе Московского университета руководителя. Секция поэзии выделила для работы М. А. Зенкевича, но поэт был уже стар, быстро уставал, часто болел. Пришлось обратиться в Союз писателей за помощью еще раз. Теперь руководителем стал Е. Долматовский, ему помогал Д. Данин.

* Блокнот хранится в архиве В. Н. Болховитинова.



Данин вспоминает о первой встрече с Николаем Майоровым в эти дни:

«Когда осенью 1938 года в одном из старых университетских зданий на улице Герцена студенческая литгруппа собралась на первое регулярное занятие, Коля Майоров был незаметен в пестрой аудитории. Но почему-то все уже что-то знали друг о друге, и больше всего именно о Майорове. Будущие биологи и географы, химики и математики, физики и историки читали свои стихи. И помню, как из разных углов раздавались уверенные голоса:

— Пусть почитает Майоров, истфак!

Но он смущенно отнекивался — то ли от робости, то ли от гордыни. Казалось, он примеривается к чужим стихам, звучащим в аудитории, мысленно сравнивает их со своими, выбирает — «что прочесть?». Наконец он вылез из-за студенческого стола, встал где-то сбоку и начал читать.

Крепко стиснутым кулаком он, этот «Майоров, истфак», словно бы расчищал живой мысли стихотворения прямую дорогу через обвалы строф» *.

...Мир только в детстве первозданен,
Когда, себя не видя в нем,
Мы бредим морем, поездами,
Раскрытым настезь в сад окном,
Чужою радостью, досадой,
Зеленым льдом балтийских скал
И чьим-то слишком белым садом,
Где ливень яблоки сбивал.
Пусть неуютно в нем, неладно,
Нам снова хочется домой,
В тот мир простой, как лист тетрадный,
Где я прошел, большой, нескладный
И удивительно прямой.

(Весеннее, 1938)

Николай Майоров действительно был роста выше среднего, чуть неуклюж, с лицом серьезным и сосредоточенным. Его портрет интересно нарисовал в своей эпитаграмме Михаил Кульчицкий:

* Сборник «Сквозь время» (Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Николай Отрада). Стихи поэтов и воспоминания о них. М., «Советский писатель», 1964, стр. 169.

Лицо откопанного неандертальца,
Топором сработанный синий взгляд.
Он бросает из конокрадных пальцев
Свой голос —

как пеньковый канат*.

Майоров не был похож на стихотворца. Скорее, он напоминал мастера. Но — вспоминает Даниил Данин — «внешне незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал, как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком, чуть вывернутым тыльной стороной к противнику, точно рука несла перчатку боксера... Он не щадил чужого самолюбия и в оценках поэзии бывал всегда резко определен. Он не любил в стихах многоречивой словесности, но обожал земную вещность образа. Он не признавал стихов без летящей поэтической мысли, но был уверен, что именно для надежного полета ей нужны тяжелые крылья и сильная грудь. Так он и сам старался писать свои стихи — земные, прочные, годные для дальних перелетов.

...Я полюбил весомые слова.

...Иногда после занятий университетской литгруппы мы бродили по ночной Москве, обычно вчетвером: Коля Майоров, Виктор Болховитинов, Николай Банников и я. У Коли всегда оказывались в запасе почему-то не прочитанные сегодня на занятиях стихи. «Почему? Что же ты молчал?» — «А ну их к черту, это не работа, еще не получилось!» — отвечал он. И он продолжал искать свои весомые слова...»**

Литературная группа МГУ (существовавшая до самой войны) постепенно активизирует свою работу, постоянно выступает на страницах газеты «Московский университет», устраивает литературные вечера, встречи с писателями, начинающими поэтами других литературных объединений.

Интересная встреча произошла в тогдашнем помещении Гослитиздата, на углу Черкасского переулка и улицы 25-го Октября. Это было своеобразное состояние начинающих поэтов МГУ и литобъединения при Гослит-

* Из записной книжки М. Кульчицкого, хранящейся в Харькове у матери поэта — Д. А. Кульчицкой.

** Сборник «Сквозь время». М., «Советский писатель», 1964, стр. 172.

издате. Читали вперемежку: Сергей Наровчатов—Николай Майоров, Михаил Кульчицкий — Николай Банников, Давид Кауфман* — Виктор Болховитинов, Павел Коган — Александр Немировский, Николай Глазков — Николай Симонов. Арбитром был Илья Сельвинский. Было много споров, много молодой горячности, запальчивости, страстности.

О молодых поэтах заговорили. 27 ноября 1938 года газета «Правда» публикует фотографию литературно-творческой группы студентов при клубе Московского государственного университета (среди них — и Николай Майоров).

3 декабря 1938 года очередное занятие литературной группы было несколько необычным. На нем происходил смотр творчества университетских поэтов, с тем чтобы лучшие выступили на студенческой олимпиаде. Стихи читали 14 человек. Слушатели и руководитель группы Е. Долматовский выступали с оценкой прочитанных стихов.

В результате от университета на олимпиаде должны были выступить — Болховитинов (физфак), Майоров (истфак), Банников (истфак), Немировский (истфак), Горелик (химфак) и Николай Симонов (мехмат)**.

Участие в литературной олимпиаде московских вузов, в литературных вечерах в заводских клубах заставляло начинающих поэтов серьезнее относиться к своему творчеству. Больше внимания стали уделять литобъединению МГУ и писатели.

16 декабря 1938 года состоялась встреча с Семеном Кирсановым. Он рассказал о вопросах структуры стиха, об особенностях построения стиха во французском, английском, польском, грузинском языках. На январь была намечена встреча с К. Г. Паустовским***.

Но работа в литературной группе уже не удовлетворяла Майорова. Все-таки слишком слаба была ее связь с большой литературой. А будущий историк все острее чувствовал себя поэтом, хотел глубже изучать поэзию, совершенствовать свое мастерство. Поэтому в 1939 году Майоров параллельно с историческим факультетом

* Настоящая фамилия поэта Давида Самойлова.

** «Московский университет», 1938, 16 декабря.

*** Там же, 23 декабря.

начинает посещать семинарские занятия в Литературном институте имени А. М. Горького, а с осени 1940 года он занимается в поэтическом семинаре Павла Григорьевича Антокольского.

Антокольский вспоминает: «На семинаре в Литинституте часто появлялся в качестве гостя студент-историк, скромный, неразговорчивый, серьезный Николай Майоров. Стихи его поражали чувством глубокой связи с прошлым русской земли, с веками борьбы и труда русского рабочего и деревенского люда. Майоров был не только одаренным поэтом, он был прирожденным историком, археологом; в нем угадывались исследовательская жилка, врожденный интерес к нашей вековой старине!» *

«В стихах его звучала воспитанная самой жизнью, а не вычитанная в книгах, обязательных для студента-историка, любовь к истории родной земли.

Николаю Майорову не приходилось искать себя и свою тему. Его поэтический мир с самого начала был резко очерчен, и в самоограничении он чувствовал свою силу... Он увидел как бы со стороны самого себя и поколение, к которому принадлежал, увидел исторически...» **.

В 1940 году — к 185-летию МГУ — готовился к выпуску сборник стихов литературно-творческой группы. Ответственным редактором был ректор университета профессор В. В. Потемкин, редактором — М. Алигер, составлял сборник и вел первую редакцию Д. Данин.

Была верстка (гранки сохранились частично у В. Болховитинова и Д. Данина). Но потом работу приостановили: кому-то показалось, что в сборнике прозвучали мотивы декаданса. Набор рассыпали.

Из стихов Майорова в сборник должны были войти: «Часы», «Дождь», «Отелло», «Что я видел в детстве», «Рождение искусства», «Мы».

Сборник «не состоялся». Но как поэт Майоров к этому времени уже сложился. Ему не хватило 5—6 лет жизни, чтобы голос его зазвучал в полную силу, чтобы в нашу поэзию вошел большой поэт.

* «Литературная газета», 1960, 7 мая.

** П. Антокольский. Предисловие к сб. стихов Н. Майорова «Мы». М., «Молодая гвардия», 1962.

Юношеская поэзия Майорова брала свое начало в народной песенности Кольцова и лиризме Есенина.

Подражания Кольцову так и остались чисто стилистическими упражнениями. Сложнее было с Есениным. Сначала Майоров схватывает только внешнюю сторону поэзии Есенина, его непохожесть на других поэтов. 16-летнего подростка поражает невиданная до сих пор обнаженность души и чувств поэта. Кажется, что вот они, те мысли, которые неосознанно были и в тебе, но которые не нашли еще своего выражения в словах. Вот он, бунт самоутверждения юности, когда отрицаешь все, но еще не знаешь, что же надо утверждать. Еще не понимаешь всей глубины и трагичности поэзии Есенина, а пока видишь только то, что лежит на поверхности.

И Майоров в своих первых стихотворениях берет у Есенина только внешнее.

Падай, месяц!
Бесись, кувыркайся
В позолоченном озере ржи,
Редким звездам в тиши улыбайся
И жеребою лошадью ржи! *

Майоров пишет стихи, которые часто даже повторяют сюжеты Есенина: «Письмо матери», «Письмо другу», «О собаке», «Детство». В них уже чувствуется более глубокое понимание сущности поэзии Есенина — ее человечности.

Моя жизнь не похожа на драку,
Но случилось и мне смотреть,
Как служившая долго собака
Приняла от хозяина смерть...
(О собаке, 1935) **

Постепенно Майоров учится у Есенина видеть природу не мертвой, а живой, с такими же чувствами, как у людей, с такими же движениями души. В этом отношении наиболее характерно стихотворение «Осень».

Ты пишешь мне в письме, дружище,
Что сад стал гол и нелюдим,
Что ветры северные рыщут
И громко буйствуют над ним.

* Из архива В. Жукова.

** Там же.

И туча дымом нависает,
Дожди свой сказ к концу ведут.
Березка — под окном — босая
Сгибает голову к пруду.

И ей бы вместе с листопадом
Хотелось к косогору лечь,
А ночью — встретиться за садом
И клен обнять у самых плеч.

Но нет: ветра упрямо клонят
Ее к холодному пруду.
А так не хочется в прогоне
Стоять у всех ей на виду!

И скоро инеем затынет
У берегов блестящий лед.
Ей станет холодно. Устанет —
И на колени упадет.

Уже в самых первых стихотворениях Майорова нередко встречаются неожиданно точные и яркие образы. Они идут от реальной жизни, от окружающего мира. Но чтобы заметить и передать в красках эту реальность, нужно было обладать взглядом живописца.

Синий август яблонным наливом
Обоьет вихрастые сады.
(*Стихи хулигана, 1935*) *

Облака, облака, облака,
Точно белые чьи-то рубахи,
Растянув далеко рукава,
Полетели в безумном размахе**.
(1935)

Прямо в небо
Свои рога
Метят
Фабричные трубы.
(1935)

Здесь уже немножко «свое», глаз видит окружающий мир уже чуть-чуть по-своему. Правда, эти находки тонут в потоке раздражательных образов и чувств, но все чаще и чаще молодой поэт обращается к собственному опыту, начинает доверять своему глазу и уху.

* Из архива В. Н. Болховитинова.

** Там же.

Но улыбаться как, когда по черным крышам
Зеленый дождь выстукивает дрожь?

(Моим читателям, 1936)

И слышу я, как падают на землю
Мои густые, твердые шаги.

(Письмо в стихах, 1936)

Глухая ночь.
Октябрь в расцвете рыжем
Собак пугает тощих на дворе.

(Письмо в стихах)

Даже в скрипе шатающегося колеса
Слышится грусть деревни.

(1936)

Вековые дубы у дорог
В рыжем пламени осени гаснут,
И костями облупленных ног
Застучало в осоке прясло*.

(1936)

Майоров уже умеет дать яркую деталь, зримый образ, но еще не нашел содержания. Видимо, чувствуя это, он все чаще обращается к той теме, где умение видеть является основным, — к описаниям природы. В это время он увлекается поэзией И. А. Бунина, той ее частью, которая продолжает свойственную русской поэзии традицию философски-аллегорического раскрытия мира природы; переписывает в свои тетради многие стихи Бунина, в том числе и известные — «Сапсан» и «Олень» («Густой зеленый ельник у дороги»); сам пробует писать стихи о животных, подчеркивая воплощенную в них красоту мира и неутолимую жажду жизни. («Волк», «Лисица», «Олень»; тут характерен и сам выбор героев).

В стиле Бунина Майоровым написано несколько стихотворений, среди которых выделяется «Осень».

Кончался август. Ветер в груши
Бросал предутреннюю дрожь.
И спелый колос грустно слушал,
Как серп жевал сухую рожь.
Рябины красными кистями
Свисали ниже над землей.

* Все эти строки — из архива В. Жукова.

Качались ивы над домами,
Заплавав ржавою слезой.
Но с каждым днем все холодало,
Темней и глуше день от дня,
И осень рыжим одеялом
Покрыла тощие поля...

(1936)

И хотя здесь мы уже можем отметить некоторые характерные для Майорова особенности: одушевление явлений природы (ветер *бросает* дрожь, колос *слушает*, серп *жует*, осень *одеялом покрывает* поля), точность определений (предутренняя дрожь, ржавая слеза, рыжее одеяло, тощие поля), — но даже это стихотворение — чисто описательное, статичное. Запоминаются только две строчки, которые удивительно зримо и звукописно рисуют образ:

И спелый колос грустно слушал,
Как серп жевал сухую рожь.

Ученичество у Есенина и Бунина научило Майорова видеть и слышать природу. Но сказать о ней нужно было своим голосом. А он придет позже.

Пока же начинающему поэту становится ясно одно: от подражательной поэзии надо уходить. Чужая одежда, некоторое время заменявшая свою собственную, начинает стеснять. Но какова своя? Каков свой поэтический голос?

Я отдал все. Порвал все нити.
Но все кричали хором: «Мот!»
А вы? Вы тоже не простите
Мне этот выстрел и уход? *

(1936)

Это уже не только о судьбах поэтов, но и о себе. И на первой странице новой тетради стихов появляются строчки:

Прощай, Сергей, прощай, поэт Есенин, —
Отныне новым словом я пою.

Майоров обрушивается на обывателя, который свое спокойствие и благополучие ценит выше всего. Поэт гиперболизирует микроб мещанства до гротеска: «В доме

* Из архива В. Жукова.

спят и видят сны о краже...» Он презирает пошлость, которая убивает любовь, красоту, радость.

Все в душе поэта яростно борется с обывательщиной, мертвечиной.

Я знал одно —
Куда милей кочевье.
Спать на полу,
Читать чужие книги,
Под голову совать
Кулак иль камень,

И песни петь —
Тревожные, хмельные,
Ходить землей,
Горячею от ливня,
И славить жизнь...

Постепенно определялся гражданский голос поэта. На него наслаивался голос исторический. И из всего этого — глубокого проникновения в душу природы, мужественности больших чувств и историчности взгляда на жизнь — должен был возникнуть неповторимый голос самого поэта...

И, наконец, в одну из ночей лета 1937 года Майоров пишет свое первое настоящее стихотворение — «В Михайловском». В нем нас поражают классическая ясность языка и законченность мысли. Это произведение — большой поэзии.

Смотреть в камин. Следить, как уголь
Стал незаметно потухать.
И слушать, как свирепо вьюга
Стучится в ставни.

И опять
Перебирать слова, как память,
И ставить слово на ребро
И негритянскими губами
Трепать гусиное перо.
Закрыть глаза, чтоб злей и резче
Вставали в памяти твоей
Стихи, пирушки, мир и вещи,
Портреты женщин и друзей,
Цветных обоев резкий скос,
Опустошенные бутылки,
И прядь ласкаемых волос
Забывшей женщины, и ссылки,
И все, чем жизнь еще пестра,
Как жизнь восточного гарема.
...И досидеться до утра
Над недописанной поэмой.

Здесь фактически всего два предложения. Первое произносится на одном дыхании. Одно действие нанизывается на другое, картины меняются, как в кинематогра-

фе, сталкиваются в монтажном стыке логически несовместимые понятия — и из всего этого калейдоскопа вырисовывается такая зримая картина, которой может позавидовать живописец.

В стихотворении слова простые, как в прозе Пушкина. Но — единственные.

С этим стихотворением Майоров едет в Москву. Я говорю «с этим стихотворением», глядя на творчество поэта с расстояния в тридцать лет («Большое видится на расстоянии»). Для самого же Майорова оно стояло в одном ряду со стихами «Часы» и «Быль военная», в которых собственный голос заглушался чужими.

В Москве, в университете, поэтический кругозор Майорова, естественно, расширился. И большую роль в этом сыграл В. Н. Болховитинов. Он сразу понял, прочтя стихи Майорова, что тот будет настоящим поэтом. В ивановской школе, в стороне от шумных дорог современной поэзии, Майоров получил слишком однобокое поэтическое образование. Теперь горизонт неудержимо раздвинулся. Казалось, не хватит времени, чтобы прочесть и понять все обилие поэтических школ. И тогда на помощь приходил Болховитинов. По праву старшего (В. Н. Болховитинов был на семь лет старше Майорова) он просто передавал ему все, что знал сам. Рассказывал о литературных течениях, о творчестве поэтов, часами читал наизусть стихи: Блока и Бунина (своих любимых поэтов, почти всю поэзию которых знал на память), Цветаеву, Хлебникова, М. Кузмина, Ахматову, Мандельштама, Смелякова, Тихонова, Саянова, Дементьева; из западных поэтов — Рембо и Вийона. Не называя имени поэта, читал стихи и поэмы Павла Васильева, Бориса Корнилова.

Майоров спорил, принимал, опровергал — рос!..

В отличие от большинства молодых поэтов он тяготел к классике. Его не увлекала, говоря словами Данина, «поэтическая фронда против внешне традиционных форм стиха», он искал свой угол зрения, свое понимание прекрасного в классической ясности — Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин. Из современников любил Твардовского.

Одно время Майоров зачитывается Уитменом, а осенью 1939 года впервые переживает увлечение Маяковским: «Я теперь понял, что Маяковский — настоящий

поэт». Он даже подражать ему начал (эти стихи не сохранились). Весной 1940 года, на вечере памяти поэта, Данин, Болховитинов и Майоров делали доклады о творчестве Маяковского, о его учителях.

Как видим, «закваска» поэзии Майорова была абсолютно земная.

В этом отношении интересно высказывание самого Майорова. «Все больше и больше убеждаюсь, что я — реалист. И хотя знаю, что к трагедиям Расина, Корнеля и того же Шиллера надо относиться с уважением, но меня раздражают такие пошловатые выкрики Фердинанда, как «союз наших сердец» и пр. и пр. Я понимаю, что старик Шиллер в этом не виноват. Это определялось временем и тогдашними вкусами. И обвинять шиллеровских героев в их пошло-избитом любовном словаре — это все равно, что обвинять их в том, что они носили парики. Но все-таки я не могу без раздражения слышать о «союзе наших сердец», да еще о «союзе вечном». А в общем — на эту тему мы с тобой поговорим как-нибудь после, написать об этом вовсе невозможно» *.

Майоров органически не принимал громких, патетических слов. Свои мысли он всегда выражал через земные, конкретные образы. Характерен такой эпизод.

В апреле 1941 года Майоров шел с В. Болховитиновым по Неглинной вдоль бульвара **. Московских улиц уже коснулась весна. Дворники с ожесточением убирали грязный снег. И вдруг Майоров остановился и прочел «Стихи о снеготаяльщике»... Весна, снег тает и исчезает с московских улиц, и люди, которые убирают этот снег, затосковали: «Как жить дальше?» Они идут в пивные, садятся за столики, смахивают с толстостенных кружек пену и говорят, говорят — о семье, о мироздании, о бренности всего земного. И, отведя душу, уходят на улицы убирать остатки снега, с которым уйдет и их романтическая профессия. В памяти Болховитинова остались две последние строчки —

Но умирать им рано:
Еще не выпал их последний снег!

* Из письма к И. Пташниковой от 19 июля 1940 года. Письмо хранится в архиве Пташниковой, копия — в архиве В. Н. Болховитинова.

** Рассказываю по устным воспоминаниям В. Н. Болховитинова.

Этот маленький эпизод показывает нам абсолютно земное, иногда даже несколько огрубленное, происхождение поэзии Майорова.

«Стихи о снеготаяльщике» не сохранились. Но в 1937 году было написано стихотворение, из которого, очевидно, были взяты многие детали для «Снеготаяльщика».

Мы пиво пьем за мраморным столом —
Последние актеры, подлецы, бродяги.
За желтым, в палец толщиной стеклом
Кружится с ног сбивающая влага.
Она мутит и ходит ходуном,
В нас блажь вошла,
И каждый снова хочет
В такие ночи спаивать вином
Веселых управдомских дочек.
Уже оркестр ушел,
И мы допели песню,
И наш сосед уж захмелел слегка,
А мы сидим, уйдя по плечи в кресла,
И тянем злую мудрость табака...
У нас сейчас желание простое:
О мирозданье рассуждать в тепле.
Судьба — проста, табак раздумья стелит,
Пока пивные кружки на столе.
Мы будем пить. Пока еще не поздно.
Пока еще мы трезвы все. Пока
На стол не ляжет искупленьем грозным
Официанта грязная рука.
Тогда мы встанем, отряхнем с коленей
Остатки раков, пепел и лузгу.
А что нам ночь?
Она ничто
 в сравненье
С изъёном рваным в молодом мозгу*.

Тут откровенный, грубоватый реализм голландских мастеров жанровой живописи смешан с наносной бравадой молодости. Эта бравада довольно долго преследовала поэта.

Зима. Я шествую средь ночи,
Подняв высокий воротник.
Снежинка каждая пророчит
Удачу мне. А я отвык
От легкой веры. Мне обещан
Под старость лет покой и смех.
Меня обманывали вещи,
Швейцары, женщины, успех.

* Из архива В. Н. Болховитинова.

Я шел насквозь и, верность руша,
Почти влюбляясь, — не любил.
Шумел, ораторов не слушал
И откровенно всем грубил... *

(1938)

В эти годы на голос молодого поэта начинает оказывать все большее влияние эпоха. Она незаметно, с первых детских впечатлений, входила в сознание, наполняла гордостью за страну, в которой ты родился и живешь, за людей, которые делали революцию и строили новую жизнь. Со страниц газет, из черных тарелок репродукторов, из уст отцов и матерей звучало и до сих пор волнующее слово «пятилетка».

Годы пятилеток, годы великих подвигов труда и мужества: Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре, Златоустрой, Магнитка, папанинцы, челюскинцы, Чкалов...

Это было поколение крылатых. Это была эпоха «рождения стали и человека»...

В эти годы Чкалов мечтал облететь «вокруг шарика», а мальчишки бредили авиацией и шли в аэроклубы.

Николай Майоров завидовал старшему брату Алексею — летчику-испытателю:

Ты каждый день уходишь в небо,
А здесь — дома, дороги, рвы...

Им тоже владела «упорная жажда высоты» — в творчестве, но он понимал, что в искусстве (как и везде)

...мы должны сначала падать,
А высота придет потом.
Нам ремесло далось не сразу —
Из тьмы неверья, немоты
Мы пробивались, как проказа,
К подножью нашей высоты.
...Для нас, нескладных и упрямых,
Жизнь не имела потолка.

(Ты каждый день уходишь в небо, 1939)

В черновике этого стихотворения были еще две строчки, раскрывающие путь творчества, вечную борьбу поэта со словом:

Как твой полет, мой путь опасен;
В нем шрамом — каждая строка **.

* Из архива В. Жукова.

** Там же.

И через год, в конце 1940-го, в поэме «Ваятель» — опять творчество как стремление к высоте, как взлет, который может быть смертельным для посмевшегося подняться в небо.

...А небо будет яростно и мглисто
Пылить с боков
Снежком голубизны...
Быть может, ты
Неопытным туристом
Сорвешься с той
Проклятой крутизны,
Но ты не трус!
Назад тебе — ни шагу!
Грозит обвалом
Каждый поворот.
И не убив —
Не прячь обратно шпагу,
И падая,
Ты сделай шаг вперед! *

Последние четыре строки достойны высокой оценки! По-эзия и по-лет, стихи и стихи-я — всегда у Майорова синонимы, синонимы творчества, дерзания, настоящей жизни, всегда побеждающей смерть памятью.

В 1938 году — рассказывает Владимир Жуков — «в наших местах (а жили мы на окраине Иванова) разбился самолет.

...В суровом молчании на холодный горький песок первой в нашей мальчишеской жизни братской могилы друзья-летчики возложили срезанные ударом о землю винты самолета.

А вечером Коля читал стихи, которые заканчивались строфой:

О, если б все с такою жадной жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
Как память ими взятой высоты
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы **.

Тема жизни и смерти, мужества и бесстрашия, преданности делу становления отныне для Майорова ведущей. Он пишет «Балладу о Чкалове» (1938), посвященную гибели замечательного летчика, и как бы про-

* Отрывок из поэмы приводится в воспоминаниях И. Пташиковой в книге «Мы», стр. 83.

** Воспоминания в книге «Мы», стр. 93.

должение ее — стихотворение «Торжество жизни» (1938), заканчивающееся словами:

Как прежде, люди в небо рвались
В упорной жажде высоты.

Победа жизни над смертью была аксиомой и в авиации, и в поэзии. Недаром Николай Глазков говорит, что для Майорова была характерна та спокойная уверенность, которую он встречал у знакомых ему летчиков.

В эти годы тема революции всецело завладевает поэтом. Юноша, определяющий свое место на земле, ощущал неразрывность своей судьбы с революцией, воспринимал революционные традиции отцов как основу своей жизни.

Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами,
Глаза мои обращены на всех.

Здесь характерно даже само употребление слова «отец» во множественном числе. Поэт чувствовал зависимость своего рождения, формирования своей личности от революционной бури, от множественности масс, поднятых на борьбу.

Пытливым взглядом историка Майоров вглядывается в недавнее прошлое своей страны, ставит себя рядом с матросом, работницей, седым путиловцем, который небритой щекой приник к прикладу, слушает вместе с ними невысокого человека, стоящего на броневике, и понимает, «как нужен этот человек ему. Той женщине. Матросам...».

И бредила — в мечтах носила, —
Быть может, им и только им
В тысячелетиях Россия...

(Ленин, 1937)

К этому человеку, к его идеям призывает обратиться поэт в трудную, тяжелую минуту. И еще раз поняв бессмертные дела революции, получив новый запас сил и энергии, идти дальше — прорубаться в тайгу, взрывать годы, прокладывать русла новых рек, строить свою страну.

Майоров остро чувствовал желание своего поколения продолжить дело, начатое отцами в годы первых пятилеток.

Сначала это было восхищение огромной, прекрасной страной, которую отцы дали в наследство сыновьям.

Мне двадцать лет. А родина такая,
Что в целых сто ее не обойти.
Иди землей, прохожих окликай,
Встречай босых рыбацек на пути,
Штурмуй ледник, броди в цветах по горло,
Ночуй в степи, не думай ни о чем,
Пока веревкой грубой не растерло
Твое на славу сшитое плечо.

Потом на смену восхищению приходит стремление молодости оставить после себя заметный след на планете. И свойственное юности стремление к передвижению, желание покинуть знакомые, привычные места раскрывается уже по-новому.

Мы расходились и опять встречались,
Писали письма, слали адреса.
Над нами звезды робкие качались
И месяц рыжий с неба нависал.
Гремели поезда на перегонах,
Ключи разлук глубоко затая,
И, не сойдясь, мы в крашенных вагонах
Вновь разъезжались в разные края...

Через 20 лет в полный голос эта тема прозвучит в «Добровольцах» Е. Долматовского...

И, наконец, в 40-м году, накануне войны, Майоров скажет от имени своего поколения (видя это поколение исторически, через годы):

Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы..
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша...

Как все молодые поэты, Майоров много писал о любви. «Но в отличие от большинства начинающих лириков он размышлял о ней не мечтательно и бесплотно, а требовательно, жарко и даже зло»*.

Уйди, но так, чтоб я тебя не слышал,
Не видел, чтобы, близким не грубя,
Я дальше б жил и подымался выше,
Как будто вовсе не было тебя.

* Воспоминания Д. Данина в сборнике «Сквозь время», стр. 170.

Ночью в вагоне, по дороге в Иваново, когда «не шел рассвет», когда вся жизнь казалась кочевьем, «глухим прокуренным вагоном», «И чьи-то спутанные губы шептали тихое «прощай»...» * — Майоров пишет о том,

Как пахнет женщиной вагон,
Когда та женщина не с вами.

(В вагоне, 1938)

Образ любимой живет в душе поэта постоянно, преследует своей реальностью, своим каждодневным присутствием.

Окно. И осень. Стены в пакле.
Ширяет ветер — лют и храбр...
Тобою дни мои пропахли,
Как стеарином — канделябр.

(1938)

Боль разлук, мучительность встреч заставляют поэта находиться в том тревожном состоянии, когда каждая женщина напоминает о той, далекой, как будто ее и не было.

И с неба солнце пало в заводь:
Неподалеку — так светла —
С полузакрытыми глазами
На пляже женщина спала.

Был гиб руки, как ложе мола.
И пели путанно пески,
Как ныла в этом сгибе голом
Боль тяжелеющей тоски...

(Ветер, 1938)

Большое чувство должно было найти себе выход, и оно, как всегда у поэта, переплавляется в строки стихов. Без них можно было бы задохнуться.

Я знал тебя, должно быть, не затем,
Чтоб, год спустя, всему кладя начало,
Всем забытьем, всей тяжестью поэм,
Как слез полон, ты к горлу подступала.

(1939)

* Цитирую по черновику стихотворения «В вагоне», который хранится в архиве В. Жукова.

Любовь стала для Майорова тяжестью стихов.

Из его недавно опубликованных стихов о любви одно выделяется своей законченностью, трагизмом, почти болезненным восприятием чувства.

Заснуть. Застыть. И в этой стыни
Смотреть сквозь сонные скачки
В твои холодные, пустые
Кошачьи серые зрачки.

В бреду, в наплыве идиотства,
Глядя в привычный профиль твой,
Искать желаемого сходства
С той. Позабытой. Озорной.

И знать, что мы с тобою врозь
Прошли полжизни тьмой и светом
Сквозь сонм ночей, весны — и сквозь
Неодолимый запах лета.

И все ж любить тебя,
Как любят
Глухие приступы тоски, —
Как потерявший чувство красок
Любил безумный, страшный Врубель
Свои нелепые мазки.

(1938)

Постепенно лирика Майорова становится более мужественной, не теряя своей искренности и глубины чувств. Поэт приходит к зрелости чувства, к пониманию того, что значит любить.

Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее — такую!..
.
Не спать ночей, гнать тишину из комнат,
Сдвигать столы, последний взять редут,
И женщин тех, которые не помнят,
Обратно звать, и знать, что не придут.
Не спать ночей, недосчитаться писем,
Не чтить посулов, доводов, похвал,
И видеть те неснившиеся выси,
Которых прежде глаз не досягал, —
Найти вещей извечные основы.
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь — могущество мое!

(Что значит любить, 1939)

Заснуть. Заснуть. И в этот вечер
Смотрю свое солнце сзади
В твои колоды, мушкет
Козачьи серые зрачки.

В среду, в напыле адуанса,
Идею в извивах аромата твои,
Нервно переломлю - сходящая
С тобой. Побойся. Озорной.

И опять, что ли с тобой брось
Проще подмигнуть тебе и светом
Слова свои покажи, ~~всё~~ ^{всё} — и слово
Недоумевший запах лета.

И все же любить тебя,
Как любить.
Мушкет аргументы твои

кой страшные романы». Смерть не так страшна, когда знаешь, для чего она, когда внутренне ее уже пережил.

...он решил, что это пустяки,
И, будто позабыв уже о смерти,
Не дочитав томительной строки,
Полюбовался краской на конверте
И, встав во весь огромный рост,
Прошел, где сосны тихо дремлют.
В ту ночь он не увидел звезд:
Они не проникали в землю.

(Смерть революционера, 1938)

Тема звезд часто сопутствует в стихах Майорова теме смерти. Умиравшему красноармейцу, видящему над собой только беленый потолок и угадывающему за окном звездную ночь,

Хотелось выйти в улицы, на воздух,
Локтями дверь нечаянно задеть.
А ночь была такая, что при звездах
Ему не жалко было умереть.

(В госпитале, 1939)

Одной деталью — желание умирающего «локтями дверь нечаянно задеть» — Майоров передает страстную жажду человека почувствовать еще раз свои силы, свое противодействие внешнему миру. Это чисто «майоровская» деталь.

В черновике * стихотворения «Ты каждый день уходишь в небо...» рукой Майорова написано о его стремлении

Ходить землей и видеть звезды
И, позабыв про крик «Не тронь!»,
Ловить руками близкий воздух
И зажимать его в ладонь.

(1939)

Даже такому земному поэту, каким был Майоров, хочется иногда поискать в небе «свою звезду», пофилософствовать во вселенском масштабе. И тогда рождаются такие стихи, как «Звезда».

Каждому — радость и страх,
Каждому — солнце и воздух.
В чьих-то воздушных руках
Прыгали в небе звезды.

* Хранится в архиве В. Жукова.

Только с рассветом одна
В черную землю упала —
И над деревней заря
Встала до крови ала.

Вышла надежда из дум —
Долго в небе морозном
Искал я свою звезду
В неуловимых звездах.

(1936)

Но звезда Майорова была на земле, в его поэзии. Он сам это понимал. Недаром в том же стихотворении «Ты каждый день уходишь в небо...» он писал:

Как женщине, останусь верен
Моей злопамятной земле.

Он понимал и знал поэзию реальной жизни, первичных, чувственных ощущений, которые поднимались в его стихах до символа, до философского обобщения. Этим его стихи близки к поэзии Павла Васильева и образности А. Довженко.

Я полюбил весомые слова,
Просторный август, бабочку на раме
И сэн в саду, где падает трава
К моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь, где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную,
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды...

Эти строки из стихотворения «Август» (1939) — почти сценарий Довженко. Вспоминается его фильм «Земля»: дождь падает на налитые плоды, падает медленно и долго, яблоки серебрятся, поворачиваются; они как мины, как годы жизни. И в это время умирает старый дед...

У Майорова много общего с образностью Довженко: рапидная съемка кинематографа (дающая на экране замедленность), фиксация мгновения, разложение сложного действия на простые составляющие, в каждой из которых самый «корень», своим «примитивом» обнажающий сущность, поднимающийся до символа.

Николай Глазков рассказывает, как на литобъединении при журнале «Молодая гвардия» Николай Майоров в 1940 году читал свои стихи. «Меня его стихи захватили, увлекли: у него в стихах было то, чего явно не хвата-

ло другим. Стихи Майорова подкупали своей жизненной правдой. Очень понравилось мне стихотворение, в котором Майоров рассказывал, как он плавает. Казалось бы, плывет человек по воде, и ничего в этом нет особенного: никакой романтики!.. Ан нет!.. Я ощущал волны, по которым плыл Майоров, я чувствовал в его стихах знойный летний день, я сам так же плавал...» *

Плыву вслепую. Много не вижу,
А где-то есть конец всему и дно.
Плыву один. Все ощутимей, ближе
Земля и небо, слитые в одно.
И только слышно,
Там, за поворотом
Торчащих свай, за криками людей,
Склонясь к воде с мостков дощатых,
Кто-то
Сухой ладонью гладит по воде...

Я оглянусь, увижу только тело
Таким, как есть, прозрачным, наяву, —
То самое, которое хотело
Касаться женщины, падать на траву,
Тонуть в воде, лежать в песке у мола...
Но знаю я — настанет день, когда
Мне в первый раз покажется тяжелой
Доныне невесомая вода...

(На реке)

В стихах Майорова обыкновенная река превращается в символ движения жизни, первый снег становится тем ярчайшим, главным мгновением в жизни мира, которому хочется крикнуть фаустовское «Остановись!»

Как снег на голову средь лета,
Как грубый окрик: «Подожди!»,
Как ослепленье ярким светом,
Был он внезапен. И дожди
Ушли в беспамятство.
Останьтесь.
Подвиньте стул.
Присядьте.
Вот
Мы говорим о постоянстве,
А где-то рядом снег идет.
И нет ни осени, ни лета,
Лишь снег идет.

(Первый снег, 1940)

* Воспоминания Н. Глазкова в книге «Мы», стр. 102.

Синтаксическим строем, ритмикой поэт как бы растягивает, замедляет время, чтобы показать нам вечное, нетленное — красоту, которая своим постоянным, ежегодным возобновлением побеждает движение времени.

Майоров умеет поймать тот момент, «когда пойдет слепая зелень, как в лихорадке, лес трясти», может рассказать о том, «как ливни ходят напролом, не разбирая, где канавы». Он ощущает внутреннюю жизнь неживой материи — камней: «словно бивни, торчат они, их мучит зуд»; а вот еще один — «в грудь недр вцепившийся руками последней хваткой мертвеца». Дорога у него идет «вразвалку», тени «гибнут. Горбятся. Играют. Тени умирают на стене».

Полевые цветы он ставит на стол, как лампу, и с уважением слушает «земной нестареющий язык молока...»

Интересно, как сам Майоров смотрел на свое творчество, как формулировал свои поэтические принципы. Об этом нам рассказывают его записи * на заседании «бригады поэтов при литконсультации Гослитиздата» 4 марта 1940 г.

Отвечая Л. Можяевой на упрек, что в его стихах «не чувствуется любви», что они излишне натуралистичны и иногда циничны, Майоров говорит: «Какой же это цинизм? Я так любил. Есть озлобленность — да, есть: я груб и люблю злые стихи. Я чувствую так, как чувствует здоровый человек, со всеми его инстинктами». И, продолжая мысль, отвечает Павлу Когану: «Я мог бы идти от исторического сюжета, но я хочу идти от природы, от чувств здорового человека».

Вот в этом «идти от природы» — ключ к поэзии Майорова.

Он с детства, «от земли», знал красоту и силу русской природы и речи, не раз вспоминал, как в родных краях «большая песня словом нас качала на лугу» **; навсегда был очарован родной землей с ее щедростью и поэтичностью.

Я лирикой пропах, как табаком,
И знаю — до последнего дыханья
Просить ее я буду под окном,
Как нищий просит подаянья.

* Из архива В. Болховитинова.

** Там же.

Чем этот штурман, в давке, на лету
За полфлорина амстердамских женщин
Ловить, как птиц, порхающих в порту,
Глядит, трезвея, зло на моряка...
Меж тем Рембрандт, взобравшись на подмости,
Двумя-тремя штрихами с маньяка
Сухим огрызком делает наброски.
Потом идет. Теперь проспаться где бы?
Уснув, как грузчик, видит на заре
Матросами заплеванное небо
И слышит грусть шарманки во дворе.

Это написано плотно, сочно, с фламандской щедростью красок. «Матросами заплеванное небо» стоит многого! И, несмотря на явное влияние Антокольского (см. его «Фламандскую школу»), есть тут свое, неповторимое, майоровское — в отборе деталей, в намеренной огрубленности, в сравнении художника с грузчиком.

Но это не значит, что Майоров шел от подражания Пастернаку и Антокольскому. Нет. Просто его языческое восприятие мира, глубокое понимание языка природы, естественность чувства оказались близки поэтическим принципам этих мастеров. У Пастернака Майоров нашел душу и краски природы, у Антокольского — взрыв глаголов, кисть фламандца и стихию чувств.

И Майоров брал у них то, что отвечало его собственному представлению о поэзии. Из всего этого сплава рождались «напряженные, круто замешенные, сочащиеся красками строфы» (Н. Банников).

Сила стихов Майорова заключается также в силе его ощущений, как бы воспроизводящих ту плоть, которая эти ощущения переживает. «Поверивший в слова простые», поэт привлекает к себе наше внимание естественной цельностью натуры, спокойным ощущением земной силы. И это роднит его поэзию еще с одним мастером — Павлом Васильевым (с его творчеством Майорова познакомили друзья только впоследствии, когда «знатоки» вдруг обнаружили сходство их стихов).

Сходство действительно было разительное. Достаточно прочесть стихи Павла Васильева «Август», «Песня», «Рассказ о деде», «Лето» (даже названия иногда совпадают с майоровскими), чтобы почувствовать общность их взгляда на мир, увидеть щедрую, яркую живописность их слов.

Поэзия Майорова, подобно поэзии П. Васильева, ино-

гда почти натуралистична, но она не теряет своей художественности, живописности благодаря той избранности живых деталей, которая дает нам главное в предмете или явлении изображаемого.

Суп на столе уже дымился.
Детей кричали на обед.
И грязным кулаком крестился,
Глядя куда-то в угол, дед.

На нем огромная рубаха
(Носил ее он с Покрова)
Пылала кровью, словно плаха,
С которой пала голова.

И пот стекал по переносью
(Густая мутная вода)
Туда, где рыжая, как осень,
На грудь спадала борода*.

Натуралистические подробности здесь растворяются в обобщенном изображении могучего в труде и непреклонного в своих убеждениях русского крестьянина. Старик как будто сошел с крамольных икон древних русских мастеров. И его алая рубаха напоминает самих дерзких иконописцев, которые святые каноны толковали по-своему и бога писали, как человека, а человека — как бога.

Приведенный выше отрывок — это часть того немногого, что сохранилось от большой поэмы «Семья», написанной Майоровым в 1939—1940 годах. В годы войны поэма была утеряна. Поэтому судить о ней мы можем лишь по тем немногим фрагментам, которые уцелели.

Замысел поэмы постепенно зрел у поэта. В 1938 году им были написаны два стихотворения — «Отцам» и «Изба», в которых только еще обозначилась тема, полностью развитая в поэме.

Чуть брезжил свет в разбитых окнах,
Вставал заношенный до дыр,
Как сруб, глухой и душный мир,
Который был отцами проклят,
А нами перевернут был.

(Изба, 1938)

* Из архива В. Жукова.

Интересно, что этими строчками первоначально заканчивалось стихотворение «Тут жил Горький», написанное под впечатлением от просмотра фильма «Детство Горького». В стихотворении описывался быт, царящий в доме Пешковых. Дом этот принадлежал к тому же «глухому и душному миру», что и косая изба. Поэтому одинаковая концовка или перенесение ее из одного стихотворения в другое вполне закономерны.

В стихотворении «Отцам» Майоров говорит:

Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами...

Стихи «Отцам» и «Изба» как бы намечают тему поэмы — гибель глухого и душного мира прошлого, становление новой жизни, следование детей по пути отцов.

Судя по сохранившимся отрывкам и черновикам, поэма «Семья» была сложным, многоплановым произведением. Майоров намеревался проследить историю развития большой крестьянской семьи, ее приход в революцию, показать противоречия, раздиравшие крестьянство в годы коллективизации.

От поэмы сохранилось лишь несколько отрывков. В черновом наброске «Апрель» интересно краткое описание улицы и дома, восприятие которого дается через восхищенный взгляд ребенка.

Ту улицу Московской называли,
Она была, пожалуй, не пряма,
Но как-то по-особому стояли
Ее простые, крепкие дома.
И был там дом с узорчатым карнизом,
Купалась в стеклах окон бирюза.
Он был насквозь распахнут и пронизан
Лучами солнца, бьющего в глаза.
По вечерам тягуче, неумело
Из-под шершавой выгнутой руки
Шарманка что-то жалостное пела,
И женщины бросали пятаки...

«Узорчатый карниз», бирюза окон, лучи солнца, насквозь распахивающие (!) и пронзающие дом — и рядом шершавая вытянутая рука шарманщика и женщины, бросающие пятаки. Такой резкий контраст изображения создает реальную, осязаемую картину, написанную как будто рукой художника.

Все уцелевшие отрывки из поэмы очень выразительны и создают яркие зрительные картины, хотя поэт использует минимум изобразительных средств.

Чтобы показать горе матери, у которой умирает младенец, Майоров, как настоящий живописец, выхватывает светом наиболее выразительную деталь — руки. Худые руки, в отчаянии занесенные над цветастым (!) одеялом, передают все бессилие матери перед смертью. Этими руками, которыми она могла выполнить любую, самую тяжелую крестьянскую работу, она не может помочь маленькому, беззащитному существу — кусочку своей плоти.

И, оторвавшись ото сна,
В тоске о сыне годовалом
Худые руки занесла
Мать над цветастым одеялом.

И ей мерещились гробы
И крышки с траурной каймой.
А от дверной косой скобы
Уже повеяло зимою... *

Другой отрывок — «Обед» **, со своей грубой точностью определений и сравнений, иногда даже граничащих с натурализмом, как бы предваряет более тонкий, логически завершённый фрагмент поэмы, который сейчас печатается как самостоятельное стихотворение «Дед».

Отбрасывая детали, простым, но точным перечислением действий (это обычный прием поэта для развертывания картины движения; поэтому так много в его стихах глаголов). Майоров показывает последние дни человека, вся жизнь которого прошла в труде. Готовясь к смерти, этот земной бог в последний раз — крепко и добросовестно, как всегда, — делает свое каждодневное дело. И только закончив работу, он разрешает себе спокойно, с чувством исполненного на этой земле долга, умереть.

Он делал стулья и столы.
И, умирать уже готовясь,
Купил свечу, постлал полы,
Гроб сколотил себе на совесть.
Свечу поставив на киот,
Он лег поблизости с корытом
И отошел. А черный рот

* Из архива В. Жукова.

** См. стр. 44.

Так и остался незакрытым.
И два громадных кулака
Легли на грудь. И тесно было
В избенке низенькой, пока
Его прямое тело стыло.

В этих 12 строчках — мудрость человеческой жизни, прожитой для людей, не зря.

В архиве В. Жукова хранится еще несколько строчек из поэмы. Судя по черновику, они относятся к годам коллективизации; кулак Емельян — один из персонажей поэмы — бежит из деревни.

На третьей полке сны запрещены.
Худой, небритый, дюже злой от хмеля,
Спал Емельян вблизи чужой жены
В сырую ночь под первое апреля.
Ему приснилась девка у столба —
В веснушках нос, густые бабьи косы.
Вагон дрожал, как старая изба,
Поставленная кем-то на колеса.

Здесь слова литые, крепкие, голос майоровский, который ни с чьим другим не перепутаешь.

Вся поэма была написана таким густым, образным языком. Об этом говорят и сохранившиеся отрывки, и примыкающие по теме стихотворения «Отцам» и «Изба».

Кажущаяся автобиографичность этих стихов не должна сливаться непосредственно с жизнью поэта: их лирический герой несколько старше самого Николая, родившегося в 1919 году. Поэтому блестяще нарисованные картины деревенского быта объясняются не только личными впечатлениями, но и поэтическим обобщением.

Косых полатей смрад и вонь.
Икона в грязной серой раме.
И среди игрушек детский конь .
С распоротыми боками.
Гвоздей ворованных полсвязки.
Перила скользкие. В углу
Оглохший дед. За полночь — сказки.
И кот, уснувший на полу...
Так шло, врвалось в память детство,
Оборванное донага.

*(Что я видел в детстве) **

И как бы продолжение этого рассказа — из стихотворения «Отцам»:

* Печатается сейчас как самостоятельное стихотворение.

Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щек. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.
В нем не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с желтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал штыком...

Трудно говорить о том, что погибло. Но, очевидно, если бы поэма сохранилась, наша поэзия имела бы необыкновенное по выразительности описание старой деревни, пути крестьянства в революцию, в социализм. Это были бы своеобразные «Мои университеты» в поэзии...

Поэт Николай Глазков говорит: «Слушая Колю Майорова, я забывал и про рифмы, и про ритм, и про эпитеты, и про метафоры, и про все то, чему я тогда, по молодости, придавал значение» *.

Это происходило потому, что стихи Майорова писались не пустыми оболочками стершихся слов, а словами литыми, наполненными. У Майорова был стереофонический слух («И слышу я, как мир произрастает из перво-данной матери — воды») и объемное, цветное зрение. Вот в отчий дом

Рослые заходят мужики
И на стол клеенчатый бросают
Красные, в прожилках кулаки.

(На родине, 1938)

Вот вечером, стоя на степном кургане и думая о прошлом этой земли, поэт видит, как

Кровавыми руками скифа
Хватали зори край земли.

(Взгляд в древность, 1937)

Вот Майоров приезжает из шумной столицы, где люди не видят звезд, перекрытых уличными огнями, в свое тихое Иваново:

Мир встает такой неторопливый,
Весь в цветах, глубокий, как вода.
Даже слышно (!) вечером, как в нивы
Первая срывается звезда.

(На родине)

* Воспоминания в книге «Мы», стр. 105.

Поэт говорит любимой:

Приду к тебе и в памяти оставлю
Застой вещей, идущих на износ,
Спокойный сон ночного Ярославля
И древний запах бронзовых волос...
(Рождение искусства, 1938)

Читая такие стихи, как «Август», «После ливня», «На родине», «Изба», вы как бы попадаете в волшебный мир, где природа живет, чувствует, где все сдвинуто со своих мест, приведено в движение. Все явления природы, предметы очеловечиваются, наделяются своими чувствами, думами, надеждами. Вот, как живая, изба —

Косая. Лапами (!) в забор
Стоит. И сруб сосновый воет,
Когда ветра в нутро глухое
Заглянут, злобствуя, в упор.
Зимой вся в инее и стуже,
Ослабив стекла звонких рам,
Живот подтягивая ту же,
Глядит на северный буран.

Метели подползают ближе.
И вдруг рванут из-под плетня,
Холодным языком оближут
В хлеву хозяйского коня...
(Изба, 1938)

Здесь все действия — мира одушевленного, все глаголы остро эмоциональны.

Среди черновиков и неопубликованных стихов Майорова таких примеров одушевленности, очеловечивания природы очень много. Приведу некоторые.

Сумрак чуб косматый свесил
На пятнистые снега,
...Ступали на траву
Осенних дней обманчивые ноги.

Уже светлело небо. Сразу
Рассвет холодными губами
Шепнул непонятую фразу,
И все проснулось*.

Горизонт на пальцы ниже
Кольца красные зари.
(На плоту, 1938)

* Все примеры взяты из стихотворений, хранящихся в архиве В. Жукова.

Тощие монгольские деревни
Тесно жались к красному песку.
(На Востоке, 1936)

В стихотворении «Рождение искусства» (1939) Майоров рассказывает, как родилось это живое, объемное, цветное видение мира.

Первобытный человек, хмурый от стужи, кутаясь в тепло звериной шкуры и жуя свой грубый корм, вдруг заметил в отблеске пламени костра совершенство форм той, которую он до сих пор не замечал как привычную вещь. Дикарь ощутил первый трепет от совершенного создания природы.

Влюбляясь в жизнь, он выдумал
искусство
И образ твой в пещере изваял.
Пусть истукан массивен был и груб
И походил скорей на чью-то тушу,
Но человеку был тот идол люб:
Он в каменную складку губ
Все мастерство вложил свое и душу...
Он различил однажды неба цвет.
Тогда в него навек вселилась зависть
К той гамме красок. Он открыл секрет
Бессмертья их. И где б теперь он ни был,
Куда б ни шел, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом,
Он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
Такое людям бросил торжество,
Что ты сдалась, когда, прижав губами
К его руке, поверила в него...

И сразу вспоминается похожая история о дикаре, который, глодая свою честно заработанную на охоте единственную кость, вдруг видит незамечаемый до сих пор голодный взгляд своей подруги. До боли в желудке жалко кость, еще покрытую кусками мяса. Но в дикаре что-то произошло, у него вдруг возникла в мозгу связь между теми центрами, которые до сих пор не взаимодействовали, — и он протянул кость женщине. Этот дикарь был первым поэтом. (Эта романтическая история была выдумана А. Толстым и рассказана им В. Берестову.)

Проблемы искусства, творчества, связи жизни и поэзии всегда волновали Николая Майорова. Разрешению этих проблем была посвящена большая поэма «Ваятель», написанная в 1939—1940 годах. До наших дней эта

поэма также не дошла, она была утеряна в годы войны. Сохранилось только несколько отрывков.

Константин Титов, старый друг Майорова, вспоминает: «Поэма «Ваятель» (вступление к ней — «Есть жажда творчества...») навеяна встречами со скульптором Степаном *. Фамилии его я не помню. Помню только, как ходили к нему в мастерскую-гараж, беседовали об искусстве и выпивали» **.

Колоритная фигура скульптора и его мастерская запечатлены в сохранившемся небольшом отрывке из поэмы. Этот отрывок относится, очевидно, к начальной стадии работы над поэмой.

В Москве у Земляного вала
В часовенке иль в бывшем гараже,
Где с потолка течет, где света мало,
Где штукатурка рушится обвалом,
Он поселился в нижнем этаже.
В квартире пахло прежними жильцами.
Ваятель был скуласт и неумел.
Он все пределы в комнате хотел
Потрогать узловатыми руками
И даже языком лизнул стекло.
Потом, взглянув сперва на поддувало,
До печки он коснулся, но тепло,
Должно быть, здесь давненько не бывало.
И плитняком наполовину застлан,
Светился пол нечищенный. Слегка
Пахнуло деревянным маслом
От желтого, как лето, косяка.
— Затворнику не надо лучше места, —
Он пробурчал спустя пяток минут.
Он не имел пока еще невесты,
И, стало быть, не надобен уют ***.

(1939)

Трудно сказать, что осталось от этого импрессионистского наброска в окончательном варианте поэмы. Но и в этом незавершенном эскизе еще раз ясно проявляется основное свойство поэзии Майорова — намеренная приземленность образа и обстановки, конкретность мышления.

* Цаплиным. Его мастерская и огромность скульптур, для которых пробивали крышу, поразили Майорова.

** Из архива В. Жукова.

*** Из архива В. Болохвитинова.

И в то же время эта конкретность, образность мышления, когда поэт использует ее для выражения самых абстрактных и высоких понятий, придает отвлеченным понятиям зримость, осязаемость и этим делает их более близкими, волнующими.

В этом отношении интересно проследить взгляд поэта на природу творчества, на силу воздействия искусства в отрывке из первоначального варианта поэмы, который печатается сейчас как стихотворение «Творчество».

Сначала это трепет перед великим искусством природы, робость творца, который только еще берет в руки резец.

...И чертят ночи
Рисунок странный на стекле.
И в тонких линиях ваянья,
Что ночь выводит по стеклу,
Так много слез и обаянья,
Пристрастья вечного к теплу, —
Что я теряюсь и немею.
Я нем почти. Почти в снегу.
Сказать хочу — и не умею,
Хочу запеть — и не могу.

А вскоре поэзия становится полетом, той «проклятой крутизной», с которой можно сорваться, где каждый поворот грозит обвалом, но через которую пройти необходимо. И слова зыбкие, тонкие, как акварель, в первом варианте сменяются острыми, резкими фехтовальными движениями мастера, который начал дуэль с искусством природы.

И не убив —
Не прячь обратно шпагу,
И падая,
Ты сделай шаг вперед!..

Наконец приходят зрелость, совершенство, неторопливость знающего свои возможности мастера. И слова Майорова становятся медленными, весомыми, синтаксис — ритмичным. Все стихотворение произносится как одно предложение-мысль, где есть паузы, но нет точек. (Недаром на четырех внутренних точках голос все равно идет чуть вверх.)

Творчество

Есть жажда творчества,
Уменье созидать,
На камень камень класть,
Вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать,
Вставать до звезд и падать на колени.
Остаться нищим и глухим навек,
Идти с собой, с своей эпохой вровень
И воду пить из тех целебных рек,
К которым прикоснулся сам Бетховен.
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
Весь мир вместить в дыхание одно,
Одним мазком весь этот лес и камни
Живыми положить на полотно.
Не дописав,
Оставить кисти сыну, —
Так передать цвета своей земли,
Чтоб век спустя все так же мяли глину
И лучшего придумать не смогли.

(1940)

О том, как было написано это стихотворение *, ставшее потом вступлением к поэме, рассказывает сам Майоров в письме к И. Пташниковой (от 19 июля 1940 года) **. Он ехал в поезде в Иваново — на летние каникулы.

«...Приятно лежать на спине и пускать кольца дыма в потолок вагона (да, а есть ли у вагона потолок?). Кончил курить. Голова чуть кружилась. Медленно нащупывались какие-то отдельные строчки, потом сон брал свое, слова куда-то проваливались, а память их снова возвращала. Почему-то вспомнил свой давний стих —

Лишь мне останется грустить
и, перепутав адрес твой,
к концу пути придумать стих,
такой тревожный, бредовой.
Чтоб вы, ступая на перрон,
познали делом, не словами,
как пахнет женщиной вагон,
когда та женщина не с вами!

* Его первым вариантом можно считать во многом перекликающееся с ним стихотворение «Художник» (1939 г.), посвященное Н. Шеберстову.

** Письма хранятся в архиве И. Пташниковой. Машинописные копии писем имеются в архиве В. Н. Болховитинова.

А правильно все-таки когда-то сказал. Потом снова долго и мерно качало. Ехали. Показалось, что я где-то давно тебя оставил и прощались мы не вчера, а давным-давно. Снова навязывались целые строфы, полез за записной книжкой, а то забуду. Записал. Писать было трудно — вагон качало. Получилось вот что:

Творчество

Есть жажда творчества, уметь созидать,
На камень камень класть, вести леса строений,
Не спать ночей, по суткам голодать,
Нести всю тяжесть каждодневных бдений... *

Убежден, что такие стихи нужны. Найдутся такие, которые скажут — непонятно! А что им понятно, с позволения сказать?».

Приведенные отрывки — это все, что сохранилось от большой поэмы. Последний отрывок — «Творчество» — показывает, насколько зрел и точен в отборе образов и слов стал поэт. Начинающий превращался в мастера...

«Творчество» — совершенно по форме и по мысли. И вообще в стихах Майорова мысль и форма удивительно едины. Форма сама по себе (чем всегда страдают молодые поэты) никогда не привлекала его, она всегда была у него неотделима от содержания. И если он пользовался звукописью («Пространство Рвали тоРмоза»), то это было вызвано необходимостью передать ощущение тревожной, нервной ночи человека, расставшегося с любимой и едущего в поезде. Если Майоров «ставил слово на ребро», то для того, чтобы сделать его объемным, зримым, живым.

Что услышишь в ночь такую?
То ли вьюга бьет в суку,
То ль тетерева токуют
В ночь такую на току **.

* Эта строчка отличается от окончательного варианта. Дальше шел тот кусок, который с некоторыми разночтениями (в письме — «приложился сам Бетховен», печатается — «прикоснулся») публикуется сейчас как стихотворение «Творчество».

Иногда это стихотворение печатается еще с четырьмя строками:

А жизнь научит правде и терпенью,
Принудит жить, и, прежде чем стареть,
Она заставит выжать все уменье,
Какое ты обязан был иметь.

** Из стихотворения, хранящегося в архиве В. Н. Болховитинова.

«Т», «ку», «ток», «так»... Почти языческое оживление слова, которое дышит, говорит.

Майоров умеет заставить заговорить по-новому даже уже известное, так повернуть мысль, что образ изменит свое значение, раскроется под новым углом зрения.

В духе Багрицкого он описывает в «Стихах про стекольщика» (1940) колоритную фигуру. Все традиционно знакомо. И вдруг две последние строчки:

Стекольщик не думал, что в этом году
В лондонских рамах стекла не хватало.

Этот контраст романтической и несколько нелепой фигуры стекольщика и реально жестоких бомбардировок Лондона фашистской авиацией в 1940 году сразу переносит нас в тревожные годы начала второй мировой войны.

Трудно удержаться, чтобы не процитировать целиком стихотворение «Гоголь» * (1939?) — этот шедевр, где талант Николая Майорова раскрылся наиболее полно.

...А ночью он присел к камину
и, пододвинув табурет,
следил, как тень ложилась клином
на мелкий шашечный паркет.

Она росла и, тьмой набухнув,
от желтых сплюснутых икон
шла коридором, ведшим в кухню,
и где-то там терялась. Он
перелистал страницы снова
и бредить стал. И чем помочь,
когда, как черт иль вий безбровый,
к окну снаружи липнет ночь,
когда кругом — тоска безлюдья,
когда — такие холода,
что даже мерзнет в звонком блюде
вечер забытая вода?

И скучно, скучно так ему
сидеть, в тепло укрыв колени,
пока в отчаянном дыму,
дрожа и корчась в иступленье,
кипят последние поленья.

Он запахнул колени пледом,
рукой скользнул на табурет,
когда, очнувшись от бреда,
нащупал глазом слабый свет

* Впервые напечатано в сб. «Сквозь время» в 1964 году.

в камине. Сердце было радо
той тишине. Светает — в пять.
Не постучавшись, без доклада
ворвется в двери день опять.

Вбегут докучливые люди,
откроют шторы, и тогда
все в том же позабытом блюде
чуть вздрогнет кольцами вода.

И с новым шорохом единым
растает на паркете тень,
и в оперенье лебедином
у ног ее забьется день...

Нет, нет, — ему не надо света!
Следить, как падают дрова,
когда по кромке табурета
рука скользит едва-едва...

В утробе пламя жажду носит
заметить тот порыв один,
когда сухой рукой он бросит
рукопись в камин.

...Теперь он стар. Он все прощает
и, прослезясь, глядит туда,
где пламя жадно поглощает
листы последнего труда.

Читая такое, понимаешь, какого поэта потеряла русская поэзия! Д. Данин пишет: «Он весь был обещание. И не потому только, что природа дала ему талант, а воспитание — трудоспособность. Он очень рано осознал себя поэтом своего поколения — глашатаем того предвоенного поколения, которое пришло к поре начинающейся зрелости в конце 30-х годов. Он чувствовал себя тем «шальным трубачом», о котором прекрасно написал в стихотворении «Мы»:

...Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла,
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
...И шли вперед, и падали, и, еле

В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил...

Это написано до войны. И это написано поэтом, который недаром хотел стать историком. Он уже был им — историком без диплома, историком не столько по образованию, сколько по чувству и предчувствию времени»*.

В том же стихотворении «Мы» Майоров писал:

И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.

Он знал, какая трудная судьба ждет его поколение, его народ, его страну.

Через год, 30 апреля 1941 года, когда уже чувствовалась предстоящая битва с фашизмом, Майоров написал короткое стихотворение. Относя себя к тем, кто не вернется с войны, он думал о грядущем поколении, которое будет учить по учебникам истории, что было такое «поколение 40-го года», рожденное в годы гражданской войны.

Ни наших лиц, ни наших комнат...
Но пусть одно они запомнят —
Вокруг московского Кремля
Вращалась в эти дни Земля.

В эти дни люди стран мира действительно смотрели в одну сторону — в сторону Москвы...

Наш путь, как Млечный, —
раскален и долог,
Мы начали в июне,
на заре...

Так писал в 1942 году Семен Гудзенко в стихотворении, где после названия стояло: «Студентам ИФЛИ, однопольчанам».

22 июня 1941 года для многих философов, филологов и историков начался последний путь...

Как и всю страну, война застала их за самыми мирными занятиями.

Николай Майоров готовился к экзамену по диамату в Горьковской читальне на Моховой. «Окна были широко открыты. И не все сразу поняли, что же произошло,

* Воспоминания в книге «Мы», стр. 77—78.

когда с площади донеслась передаваемая всеми радиостанциями Союза грозная весть. Но все, один за другим, вдруг поднялись и вышли на улицу, где у репродуктора уже собралась толпа. Война!.. Помню лицо пожилой женщины, в немом отчаянии поднятое к репродуктору, по нему текли слезы. Мы же в тот момент еще не вполне реально представляли, что нас ждет», — вспоминает Ирина Пташникова, товарищ Майорова по университету... *

В первый день войны к Майорову из Иванова приехал его младший брат Александр. Несколько дней он жил в общежитии у Николая (Стромынка, 32, комната 520. Кто-то там живет сейчас?). Студенты собирались на трудовой фронт. Николай Майоров сложил свои вещи, все тетради с лекциями и стихами и отнес их с ребятами к кому-то на квартиру. Но в день отъезда на работы он взял с собой Александра и попросил его отвезти один чемодан домой (в нем оказались книги по истории Древнего Рима, Древней Греции и несколько книг стихов — и ни одной тетрадки с собственными стихами!). Александр предложил забрать все, но Николай только рукой махнул: до баракла ли теперь?

Были поиски, были догадки, но без результата... **

Через несколько дней после начала войны студенты университета уезжали на спецзадание: копать противотанковые рвы под Ельней.

«Я очень хорошо помню этот вечер, — вспоминает Ирина Пташникова ***. Заходило солнце, и запад был багровым. На широком дворе одной из краснопресненских школ выстроились повзводно уезжающие на спецзадание студенты.

Помню Николая в этот момент — высокий, русоволосый; он смотрел на кроваво-красный запад широко распахнутыми глазами... Что видел он там? Судьбу поколения, так хорошо предсказанную им в стихотворении «Мы»? Может быть, именно в тот момент он особенно ясно понял это, почувствовал, что «Мы» — это стихи о нем самом, о его товарищах...»

С задания студенты вернулись в Москву 9 сентября.

* Воспоминания в книге «Мы», стр. 84.

** Написано по воспоминаниям И. Пташниковой и А. Майорова.

*** Воспоминания в книге «Мы», стр. 84—85.

В университете были большие изменения. Студенты досрочно сдавали экзамены, и их отправляли на работу. Некоторые пытались попасть на фронт, подали заявления в военкомат. Из-за сильной близорукости медкомиссия не пропустила в армию Ирину Пташникову. Тогда она получила назначение на работу и уехала в Ташкент. Свой адрес она оставила другу Майорова, студенту художественного института Н. Шеберстову. Майоров написал Ирине пять писем (четыре из них — из армии) *. И вот эти письма к Пташниковой, да еще два сохранившихся письма к родителям ** и являются единственными документами, рассказывающими о последних месяцах жизни вчерашнего историка и поэта, а ныне солдата Николая Майорова.

«...Когда-нибудь после подробнее расскажу, если удастся свидеться».

Распалась связь времен. Война стала границей между людьми, между событиями, между жизнью и смертью. И еще недавно незамечаемое, такое привычное в своей обыденности стало недостижимым, несбыточным.

«В 418-й школе на одной двери нашел случайно твою фамилию: ты там жила. Как был бы я рад, если б там жила ты и сейчас!»

«Если после войны буду жив, буду проситься работать в Среднюю Азию — мне надо найти тебя. Когда это будет и будет ли?»

Майоров ждет ответа на свое заявление с просьбой зачислить его в армию. Проходит медкомиссию. И опять ожидание. Заниматься в эти дни, сдавать экзамены, готовить себя к жизни историка, когда все перевернулось и мозг сверлит только одна мысль — «Война!!!» — нет сил. «Почти все ребята успели сдать госэкзамены и получить дипломы. А я — прогулял. Возможно, сдам числа 15-го, а не сдам — пусть... Мы сейчас ничего не делаем, болтаемся на истфаке, в общежитии, в городе... Я получил назначение на работу в Можайск, но это — пустая формальность. Я не безногий, чтоб ехать на работу».

* Оригиналы писем хранятся у И. Пташниковой, копии имеются в архиве В. Н. Болховитинова. Отрывки из некоторых писем опубликованы в ивановской газете «Ленинец» от 26 февраля 1961 г. и в статье В. Жукова в сб. «День поэзии. 1967». М., «Советский писатель», 1967.

** Сейчас находятся в архиве В. Н. Болховитинова.

Своей работой он считал в это время одну единственно возможную — работу солдата. «Ты в открытке желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хотя ты знаешь, что в этом деле я не отличусь. Но что могу сделать — сделаю».

Он сделал все, что мог...

В сентябре Майорова в армию не взяли. Райвоенкомат разрешил ему съездить в Иваново, к родителям. Но пробыть дома пришлось очень недолго. Из Москвы телеграммой извещали, что на его имя пришла повестка из военкомата.

Школьный друг Майорова Владимир Жуков рассказывает:

«...Вещь за вещь извлекались из сундука — армейские сапоги, гимнастерка, темно-синие галифе. Меня это крайне удивило. И я, помню, сказал ему об этом.

— Ничего удивительного. Время такое! Сейчас и портянки найдем, и портупею, — говорил он, а за переборкой плакала мать.

— Да ты не думай, что вперед глядел. Это все Алексея, ты же знаешь.



В. Жуков и Н. Майоров. 1941 г.

Старший брат Николая, Алексей, летчик-истребитель, был уже в деле.

Наконец все было найдено и надето. Я помог ему застегнуть портупею. С гражданской жизнью было покончено...» *

18 октября 1941 года — в тяжелые для Москвы дни — доброволец Николай Майоров ушел в армию.

«Сейчас я в армии. Мы идем из Москвы пешком по направлению к Горькому, а там — неизвестно куда. Нас, как население, годное к службе в армии, решили вовремя вывести из Москвы, которой грозит непосредственная опасность. Положение исключительно серьезное. Я был раньше зачислен в Ярославский аэроклуб. Но когда вокруг Москвы создалось напряженное положение, меня мобилизовали в числе прочих. Сейчас направляемся к формировочному пункту, расположенному где-то около Горького.

15—16—17 октября проходила эвакуация Москвы. Университет эвакуируется в Ташкент, к тебе. Ребята вышли из Москвы пешком — эшелонов не хватило.

...Меня эта эвакуация прельщала не тем, что она спасала меня в случае чего от немецкого плена, а соблазняла меня тем, что я попаду в Ташкент, к тебе. В конце концов я перестал колебаться, и мы вместе с Арчилом Джапаридзе (только вдвоем) не снялись с учета и вот сейчас уже находимся в армии.

Вообще подробно тебе об этих днях — по-своему интересных — расскажу после...» **

И начался тысячекилометровый марш. Ногинск... Покров... Муром. «В Муроме встретили некоторых ребят из университета. Они эвакуируются (бегут) в Ашхабад (а не в Ташкент, как я было писал тебе)... Увидев нас в шинелях (меня и Арчила), оглядывали нас, как старик Бульба сыновей своих некогда...»

Злые слова говорит иногда Майоров о себе, об Ирине, о своих товарищах по университету. Это было несправедливо: он не знал их дальнейшую судьбу. Просто тревожно было на душе, мучила неизвестность. «Это я просто от злости, бешусь. Злых я люблю, сам злой».

«...А верстовые столбы — без конца. Идешь-идешь, ду-

* Из воспоминаний В. Жукова в книге «Мы», стр. 100.

** Из письма от 22 октября 1941 года.

маешь-думаешь, и опять ты где-нибудь выплывешь, и все — сызнова. Курю. Думаю. Ругаю. Всех. Себя. Иногда разговаривать ни с кем не хочется. Даже с Арчилом. Насуплюсь и молчу.

Тяжело идти, но я, дай бог, более или менее вынослив... Сплю на шинели, шинелью покрываюсь, в голове — тоже шинель. Не подумай, что их — три шинели. Все это случается с одной шинелью» *.

Шли уже двадцать дней. Позади остался Арзамас. 8 ноября — первая дневка. Побрились. Хорошая хозяйка накормила мясным супом. За окном, по дорогам, лежал снег, дули резкие ветры, в домашнем тепле было до нереальности уютно. И можно было написать длинные письма близким...

О нашем времени расскажут.
Когда пройдем, на нас укажут
И скажут сыну: — Будь прямой.
Возьми шинель — покроешь плечи,
Когда мороз немоготу.
А тем — прости: им было нечем
Прикрыть бессмертья наготу...

А наутро опять дорога. Длинная. Трудная. Солдатская.

«Сегодня — 18 декабря — ровно два месяца, как я в армии... Я чуть не был демобилизован (по приказу по НКО о дипломниках), но почему-то задержали...

А теперь перспектива такова. До нового года нас обещают маршевой ротой отправить на фронт» **.

И через десять дней Майоров напишет два письма — домой и Ирине. Эти письма коротки и суровы. Неопределенность кончилась. Впереди было то самое,

Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли...

«Здравствуй, Ирина!

Жду эшелона для отправки на фронт.

Нахожусь в маршевой роте. Говорят, нас направляют в гвардейские части, на московский фронт. Хорошо бы ехать через Иваново — возможно, забегу.

Обмундированы хорошо: полушубки, ватники, в дороге валенки дадут. Дали махорки — самое главное. Вое-

* Из письма от 8 ноября 1941 года.

** Из письма от 18 декабря 1941 года.

вать придется в самые зимние месяцы. Ну да ладно — перетерпим. Арчила не взяли в гвардию — слепой. Тяжело было расставаться с ним*.

Поздравляю тебя с новым годом, 1942! Что-то ждет меня в этом году? Ты знаешь, как я скверно встретил 1941 г. — был вызван сумасбродной телеграммой в Иваново. Сейчас новый год я тоже встречу в вагоне. Песни петь буду. Тебя вспоминать. Жаль, что только вспоминать.

Ну пока все, кажется. Целую тебя много-много раз.

Николай.

28 декабря 1941 г.»

К письму были приложены стихи...

Тебе, конечно, вспомнится несмелый
и мешковатый юноша,
когда
ты надорвешь конверт
армейский белый
с «осьмушкой» похоронного листа...
Он был хороший парень и товарищ,
такой наивный, с родинкой у рта.
Но в нем тебе не нравилась
одна лишь
для женщины обидная черта:
он был поэт, хотя и малой силы,
но был,
любил
и за строкой спешил.
И как бы ты ни жгла
и ни любила, —
так, как стихи, тебя он не любил.
И в самый крайний миг
перед атакой,
самим собою жертвуя, любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полубреду, но мог отдать тебя!
Земля не обернется мавзолеем...
Прости ему: бывают чудачки,
которые умрут, не пожалев,
за правоту прихлынувшей строки...

Тем же числом помечено письмо к родителям. Оно кончалось так:

«Это письмо к Вам поздно, наверно, придет. Я уже буду к тому времени на фронте. При каждой возможности буду писать Вам письма. Хотел телеграмму вчера из

* Позднее Арчил Джапаридзе погиб на фронте.

Иошкар-Олы послать, да очередь большая была — ждать некогда...

Обо мне меньше всего беспокойтесь.
Желаю Вам здоровья.

Ваш сын Ник.»

Это были последние строчки, написанные рукой Майорова.

8 февраля 1942 года на Смоленщине политрук пулеметной роты 1106-го стрелкового полка 331-й дивизии Николай Майоров был убит.

В 20 километрах от Гжатска, в деревне Баранцево *, сравнялась от времени с землей могила двух солдат. Одним из них был Майоров.

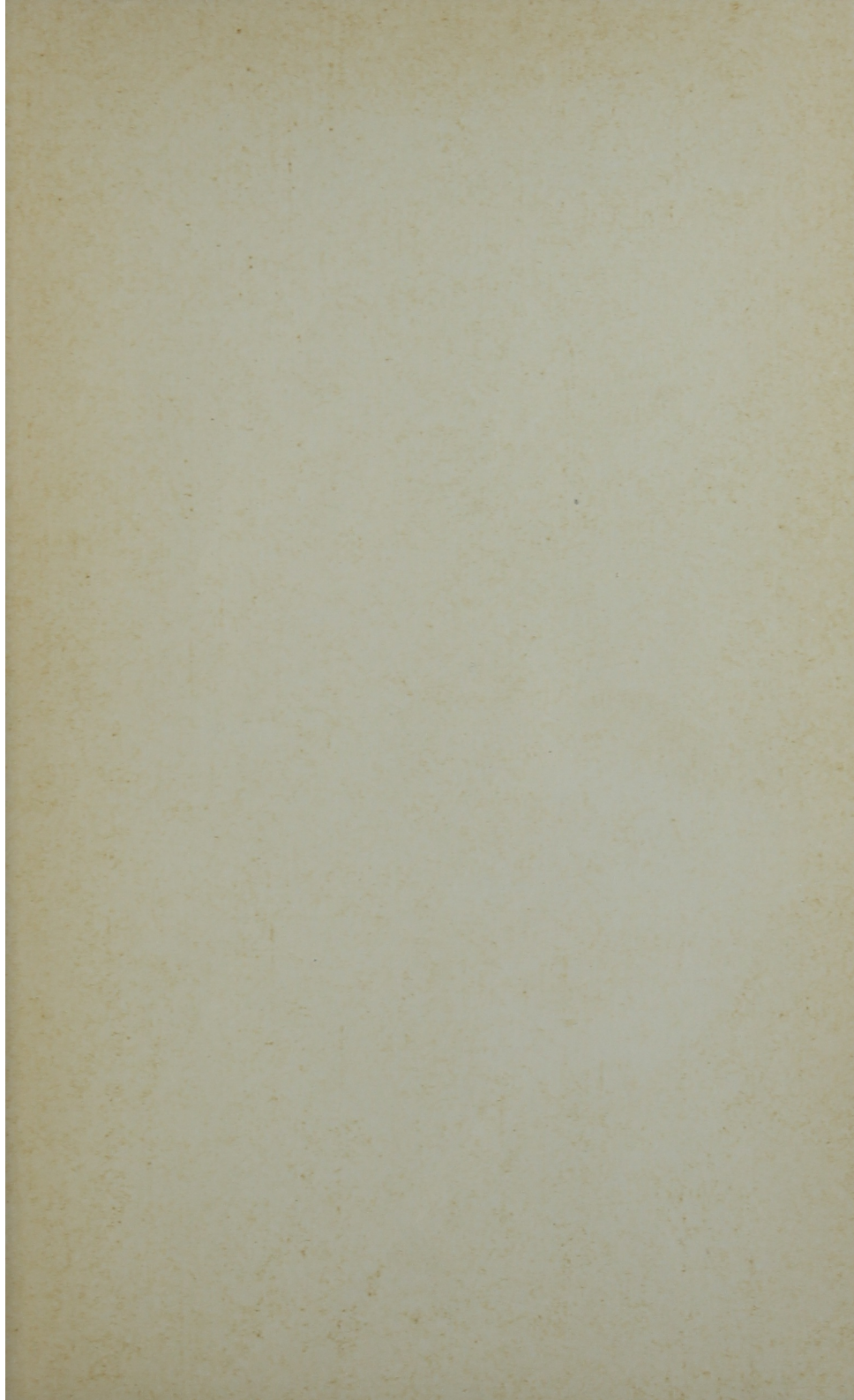
Когда умру, то отошли
Письмо моей последней тетке,
Зипун залатанный, обмотки
И горсть той северной земли,
В которой я усну навеки...

Николай Майоров и его товарищи по поэзии были честным голосом своего поколения. Они предвидели его трудную судьбу. Но они же знали и счастье победы над смертью. Майоров писал в 40-м году:

Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Пройдя сквозь годы, победив смерть и забвение, поэзия Николая Майорова вышла к людям, неся им радость бытия и красоту русской земли.

*В похоронной указана деревня Баренцево. Но ни одной деревни Баренцево в Смоленской области не оказалось, нет ее и в трех районах Смоленщины, которые отошли к Калужской области после войны. И. Пташникова, предпринявшая эти розыски, нашла на Смоленщине только деревню Баранцево, состоящую всего из нескольких старых изб. Очевидно, в похоронной была описка.



12 коп.

